

АЛЬФРЕД ПОРТЕР

БУЛЬВАР

МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Альфред Портер
Бульвар Молодых дарований

«ЛитРес: Самиздат»

2011

Портер А.

Бульвар Молодых дарований / А. Портер — «ЛитРес: Самиздат»,
2011

"Се повесть временных лет, откуда есть пошла Русская земля..." И куды она пришла - добавим от себя, умудрённые опытом Истории. Автор спешит удостоверить, что все действующие в этой повести лица выдуманы, а их имена изменены. Изменено и название города, где это всё якобы происходило. Более того, исчезла даже страна, в которой жил, горевал и радовался наш герой. А ведь ему казалось, что это всё уготовано тем, кому повезёт в ней родиться, на тысячу лет вперёд...Содержит нецензурную брань.Содержит нецензурную брань.

Содержание

Куба, любовь моя...	6
Лекция профессора Петруччи	13
Кокушки	21
Яичница по-кавказски	29
Картофельная оттепель	33
Чувачок Арканя	38
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...
Осип Мандельштам

Куба, любовь моя...

Куба, любовь моя!

Остров зари багровой!

Песня летит над планетой!.. я-я!..

Куба!

Любовь моя!..

Песнь интернационального патриотизма

Жрать охота – сил нет...

Я сижу в нашей пустынной ободранной комнате. То-есть, пустынна она уже где-то выше полуметра от пола. У самого пола всё пространство её плотно заставлено кроватями – железными койками с варварски жёсткой плоской проволочной сеткой. Эта комбинация проволоки и стягивающих её обрезки в единообразный узор пружин вгрызается в наши юные задницы и бока сквозь жёсткие тощие матрасы. К тому же сетки эти немилосердно скрипят при каждом сонном движении.

Шесть кроватей в комнате, шесть молодых, полных природных соков тел. Дрочат спр-сонок как попало. Иногда койки ритмично скрипят в унисон. А иной раз в спящей комнате повисает долгая тишина... потом в левом углу возле большого окна начинается вдруг яростный скрип, с долгими междометиями пауз. Это Валера, самый старший из нас – широкоплечий, невысокого роста ефрейтор. Уже бывший, понятно. А ныне студент нашего славного Первого Медицинского имени академика Павлова. Он у нас в комнате единственный после армии. Оно и заметно сразу же – бывалый, повидавший виды, уверенный в себе парень. Не то что, скажем, я... хоть и я малость постарше других ребят, успел после школы и поступить в институт, и бросить его, и пообтереться слегка в геофизической экспедиции, среди пыльных пространств и балок Ставрополя, в компании разного сомнительного народца, отдохавшего в нашей сейсморпартии от назойливых визитов милиции и прочих радостей городского существования, среди кумачовых транспарантов с призывами обогнать Америку по мясу, шерсти и молоку, и плакатов, с которых смотрит на всех проходящих граждан обманчиво-ласковый вечно живой, да приветливо делает всем нам ручкой: мол, верной дорогой идёте, товарищи!

А товарищи эти, которые со мной в экспедицию затесались – алкаши, мелкие воры между отсидками да бляди, которым уже в паспорте некуда и блямбу поставить. Хоть на лоб...

Побыл я там недолго, конечно – маменькины сынки в таких компаниях как бельмо на глазу для всех остальных. И это в краях, где почти у каждого долговременного обитателя и так по бельму или двум: уж очень там пыльно и ветренно, в Ставрополе. По ночам кого-то у нас в партии всегда оставляли дежурить в поле, у растянутой чуть не на километр косы, подготовленной для прострела профиля. Там, в косе, сотни метров сплетённых в толстый жгут проводов, что идут от заложенных в скважины чушек-приёмников к сейсмостанции, смонтированной на грузовом фургоне. Неровен час, погонит какой придурак-пастух своих коров на закате через наш профиль, и порвут-порежут они копытами тонкие чёрные провода. Или, того хуже – позарится один из местных сельских пропойц на наше добро и полезет ночью отрезать себе для хозяйства сотню-другую метров государственного, ничейного стало быть, добра.

Оставили как-то раз в ночном дозоре Варьку, сдобную молодуху с кормой как у сорокопушечного фрегата, и коровьими с поволокой глазами. У меня, замученного онанизмом девственника, на неё давно и застенчиво стоял, и она, лярва, распрекрасно это понимала.

Когда все остальные наши коллеги отошли подальше в направлении жилых вагончиков сейсморпартии, еле видневшихся в паре километров за балкой, Варька глянула долгим бесстыжим взором мне в лицо и сказала, будто сама себе:

Ох... и скушно и страшновато целу ночь тут одной торчать-то... хоть бы кто был для компании...

Ёкнуло у меня под ложечкой и перехватило дыхание.

Хочешь, я приду?... сказал я неповоротливыми губами, больно сглотив от нахлынувшего возбуждения.

А то!.. озорно усмехнувшись, с готовностью отозвалась Валька... И понизив голос, добавила:

Только ты смотри... пусть все там сперва уснут, чтоб не углядели. Сам знашь, потом проходу не дадут...

Впрочем, хотя сидеть в этой нашей триста шестнадцатой комнате и вспоминать, среди тощих кроватей с железными спинками и фанерных ободранных тумбочек, звёздные ночи в степях Ставрополя, дело, конечно, приятное, а только уж очень жрать охота...

Я нагибаюсь и засовываю руку поглубже под мою койку. Оттуда доносится многообещающее позвякивание.

Мой НЗ на месте. Хорошо...

Я вытаскиваю осторожно из-под кровати три бутылки побольше, тёмного стекла, и одну поменьше, прозрачную. Осматриваю внимательно горлышки – если есть где-то трещинка или даже крохотный скол, эта мужиковатая тётка в ватнике и синем дворничком фартуке, что работает на приёме бутылок в ларьке у площади Льва Толстого, не примет.

Но мои бутылки в порядке. Теперь посчитаем. За те, что побольше, из-под вина (бррр!.. что за мерзость этот «Солнцедар», из каких химических отходов его варганят?..), за те дают по семнадцать копеек. За прозрачную поллитровую, из-под водки – двенадцать. Итого – шестьдесят три копейки.

Живём!..

Я быстро прикидываю. Кило нового студня, что недавно появился в магазинах рядом с прежней серовато-зеленоватой мерзостью по 43 копейки, стоит намного больше. 56 копеек за кило. Дорого, скажем прямо, но зато и сравнить нельзя – этот студень такого здорового, желтовато-розового, цвета и в туманной его глубине тут и там видны даже длинные редкие пряди мясных волокон. Классная штука этот новый студень.

Но если взять кило – мне нехватит денег на батон.

Я сижу, глядя тупо в облупленную ядовито-зелёную стенку, и пытаюсь сообразить, что же делать. Если б ещё бутылку найти поллитровую... иногда валялись в тёмных углах под лестницами... помнится, когда мы ещё только поступали в институт и жили на время экзаменов тут же, в нашей общаге – девчонки со старших курсов, что остались на лето в городе поработать, со второго и даже с третьего курса, таскали абитуриентов постарше, да хоть бы вроде нашего Валеры-ефрейтора, в эти углы под лестницами. Угасали уже – август – знаменитые белые ночи. И в призрачном нежно-розовом свете двух зорь, и краткого тусклого часа между ними, не раз мне слышались из таких вот углов под лестницей сдавленные бабы вскрики восторга, смешанного со страхом, и мужской жеребячий всхрап и горячее дыхание. И позвякивание стеклянной посуды – добавим ближе к делу.

А не к телу...

Но это вон когда ещё было.

Теперь там, под лестницами этими, только пыль.

Ну да ладно, попрошу в гастрономе, чтобы взвесили восемьсот грамм студня. Неловко как-то вот этак считать копеечки. Нищий студент... а нефиг было на радостях со стипендии мерзотину, «солнцедар», покупать. И кого-то поить, девку эту...

Я вспоминаю почему-то лишь один её рот. Большой и широкий, как у жабы. Всегда приоткрытый. То ли в улыбке, то ли в готовности... и длинный мокрый язык...

Ладно, нечего кулаками махать после драки.

Я осторожно устанавливаю драгоценные бутылки в авоську и запираю нашу комнату.

На выходе из общаги сегодня сидит Старуха. Всклопоченные седые космы вокруг сурового – повидала тётка виды – лица. Сидит, развалившись в старом потресканном кресле с обивкой из чёрного кокемита. Сбоку за креслом в углу стоит её палка. Перед старухой – стол, на столе стекло. Под стеклом этим какие-то ценные указания от начальства, правила допуска в нашу общагу.

Не знаю, кто как, а я эту грозную бабу зауважал, после одного недавнего случая.

Заваливается как-то к нам в общагу, часов в девять вечера, недоброго вида молодец: повидать ему прикипело свою подружку-студентку.

Кто таков будешь?.. говорит Старуха сиплым басом. И палку свою выставляет, как шлагбаум.

А мне вот надо, срочно по делу, такую-то видеть!.. свысока отвечает молодец и двумя пальцами, брезгливо так, начинает отводить Старухину палку.

Не велено!.. говорит она... После осьмой вечера тут гостей не пускают... знаем мы дела эти ваши...

Да ты, бабка, с кем говоришь?.. набычась и раздувая грудную клетку, шипит в тихой ярости молодой незнакомец, явно непривычный к шлагбаумам на своём пути.

И вытаскивает из кармана темнокрасную книжечку с золотым тиснением. А там, ловлю краем глаза, щит, вроде того, что вещей Олег пришпандорил когда-то к воротам Царьграда, и два перекрещенных, как косточки на пиратском флаге, меча. И два слова, от которых у простого, и непростого, советского человека в животе холодеет и темнеет в глазах.

КГБ СССР...

Старуха вглядывается подслеповато в эту страшную ксиву. Берёт осторожно у Недоброго Молодца из рук и подносит к глазам. Читает, шевеля губами.

Ты вот чего, лейтенант государственной безопасности Слепнёв... говорит, наконец, Старуха тем же басом и кидает небрежно ксиву в ящик своего стола... Ты своему начальнику завтра в Большом Доме скажи: пусть приедет сюды аль пришлёт кого забрать эту твою удостоверениею. А теперь вали-ка отседа подобру-поздорову. Сказали тебе: не велено!..

Было любо-дорого видеть, как Недобрый тот Молодец вдруг мгновенно сдулся до жалких, пигмейских размеров и начал канючить, выпрашивая у Старухи обратно свою всесильную ксиву.

А я с тех пор эту вечно-сердитую, с рентгеновским взором Старуху зауважал...

Прохожу я с авоськой мимо её стола в тяжеленные дермантинные двери, и на улицу. Ветер с Невки вцепляется в полы моего тощего китайского плаща, дышит холодной, могильной сыростью в рукава. Тихо позвякивают бутылки в авоське.

Октябрь...

Слева, чуть поодаль, выгибает широкую спину Гренадерский мост. Я иду вприпрыжку, чтоб не мёрзнуть, туда, где с моста рельсы трамвая сходят на улицу, огибающую нашу общагу: длинное жёлтое здание с белыми полуколоннами по фронтому, бывшие казармы какого-нибудь лейб-гвардии Гренадерского полка. Улица изгибается плавно, в охват нашей общаги и её большого, просторного двора, отделённого высокой железной оградой.

Вот и трамвайная остановка. Ветер раскачивает над головой у меня остановочный знак с номерами трамвайных маршрутов. Табличка поскрипывает жалобно. Ветер выдувает из рельсовых желобов залежавшуюся с лета пыль. Метёт её, сдув с булыжников, умощённых вдоль рельсов, на асфальт...

Я прикидываю, ждать ли трамвая. Если купить восемьсот граммов студня и батон за шестнадцать копеек – остаётся жалкая двушка. Трамвайный билет стоит три копейки. Нехватит. Можно, конечно, и зайцем проехать, всего-то три остановки. И трамваи тут ходят старые, без дверей. Если нагрянет вдруг контролёрша – можно и спрыгнуть на ходу...

Ага!.. говорит тут мой внутренний голос... И расквасить по мостовой все бутылки!..

Поразмыслив, я решаю: чем мёрзнуть на ветру ждать трамвая, лучше пробежаться. Чего там, километр с небольшим, все дела.

Я иду своей обычной, лёгкой походкой, унаследованной от деда Исаака, отца мамы. Тот в свои шестьдесят с чем-то лет всё бегаёт – как пробегал всю свою жизнь, поначалу спасаясь в огородах на Херсонщине от белых, красных, зелёных и каких там ещё цветов они были... (Чтоб они тогда ещё все перебили друг дружку и сдохли!..)

Ша, Ицик!.. испуганно говорила вполголоса в таких случаях бабушка, показывая глазами на моего отца, члена партии в капитанских погонах, с четырьмя маленькими посеребрёнными звёздочками и такой же чашей со змеёй. Отец, впрочем, всегда делал вид, что не слышит этой крамолы и подчёркнуто-углублённо читал какой-нибудь медицинский журнал...

Когда убежать от Сталина и строительства замечательной светлой жизни не удалось – дед продолжал всё бегать по кругу. То добывая крохи на пропитание для семьи, то на строительстве противотанковых рвов, то уже после войны добывая, где неизвестно, тут банку американской тушёнки (ароматные тонкие ломтики сами таяли сладко во рту), там совсем непонятное что-то в маленьких плоских баночках – цвета спелого абрикоса, удивительно сладкое и питательное...

Вот и в старые свои годы дед Ицик всё бегаёт своей лёгкой, вприпрыжку, походкой из дома в дом у себя в Херсоне – где открыть и закрыть синагогу, где в миньяне десятым постоять перед «арон кодеш»¹, а где и ночь просидеть над покойником со свечой, бормоча молитвы...

Иду я этой наследной походкой по улице вдоль трамвайных путей, ёжась от ветра и щуря глаза от сероватой пыли.

На улице пусто. Лишь впереди, уже где-то у недавно построенной общаги Фармацевтического, замечаю я девушку в плащике и сатиновых чёрных брючках. На спине коса покачивается, цвета пеньки, толстая и плетёная, как морской канат. Отмечаю привычно, почти механически, как плотно натянута ткань плащика на всех этих женских объёмах... станок что надо... не грех бы и познакомиться!..

Я замедляю шаг и судорожно обыскиваю свои застоявшиеся в последнее время извилины на предмет какого-нибудь убойной силы вопроса. Такого, чтоб, значит, она сразу поняла, что это судьба!..

Но ничего не приходит в голову.

Ни-че-го.

Девушка!.. лепечу сипло-скованно я, поравнявшись с этим произведением анатомического искусства... А... а где тут... это самое... общежитие химиков-фармацевтов?..

Она медленно, будто в трансе, поворачивается ко мне всем телом... поднимает серые, затуманенные непонятной тоской глаза... и вдруг будто падает на меня, утыкаясь мокрым лицом мне в грудь и приобнимая одной рукой за плечо.

Ничего себе сила вопроса!.. выдыхает ошеломлённо мой внутренний голос... Надо запомнить!..

Но тут я замечаю в другой руке девушки судорожно зажатый в пальчиках лист бумаги с кривыми каракулями.

Я ощущаю, как намокает рубашка над вырезом моего тощего свитера. Как-то сама собой рука моя тянется обнять эту плачущую девчонку за доверчивое плечо, но – чёртова авоська с бутылками!..

Я ставлю осторожно бутылки на асфальт тротуара и прижимаю девушку к себе, нащупывая под ладонью лопатку на её спине. Пеньковые пряди волос щекочут мне ноздри. А рёбрами

¹ «Шкаф святости» (иврит), где хранятся в синагоге свитки Торы. Миньян – «десятка», минимальное положенное число людей для чтения молитв.

я ощущаю под тонким её плашиком полновесные упругие груди. И у меня, позорно некстати, начинает шевелиться и грузно набухать неутолённая плоть.

Я пытаюсь слегка отодвинуться от мягкого живота девушки, но вдруг мне становится ясно, что зря. Она в таком состоянии, что ей всё равно – даже торчи у меня там сейчас хоть палица Ильи Муромца, с картины «Три богатыря»...

Я смущённо озираюсь по сторонам, но на улице нет никого. Мимо нас, с воем притормаживая на изгибе пути, проносится трамвай.

Мне щекотны эти тёплые слёзы. И я обнимаю девушку обеими руками и плотно прижимаю к себе.

Что случилось, скажи!.. говорю я мягко и тихо ей на ушко... Кто тебя так обидел?..

Она поднимает лицо и мокрая щека скользит по моему кадыку и шершавому от щетины подбородку. В покрасневших и запухших глазах незнакомки я вижу бессилие и тоску.

А тебе-то что?.. шепчет она и я вижу, как серые глаза её заполняются свежими слезами... Секрет это, понял?.. государственная подлая тайна... ещё пойдёшь и продашь!..

Я растерянно, ошеломлённо молчу. Мысли рысью проносятся в голове. Подстава?.. да кому я там нужен?! И попалась она мне на дороге случайно, и слёзы настоящие... честные слёзы, ещё полу-детские и уже полу-женские...

Мне, с высоты всех моих двадцати трёх лет, эта простенькая, лет восемнадцати, девочка смотрится безответной и незамысловатой. И тем более странно и страшно звучат в этих юных устах такие свинцовые, как гэбэшные пули, слова.

Я молчу... под животом у меня обмякает тяжёлая плоть. И возникает какой-то опасливый холодок...

Не продам... шепчу я в ответ... Ты не бойся, скажи!..

Она поднимает нерешительно руку с зажатым в ладони листком бумаги.

Я тебе верю... шепчут её губы.

И с застенчивой благодарностью целуют меня в скулу.

Я осторожно выпрастываю из сжатых пальцев незнакомки смятый листок разлинованной в клеточку бумаги, явно вырванный из школьной дешёвой тетради.

Ну и почерк!..

Кривые торопливые строчки будто налезают одна на другую. Я с трудом разбираю буквы...

Что-то ничего не прочесть мне... говорю я огорчённо... Ну и почерк. В глазах рябит... И вообще, ты бы лучше успокоилась и просто рассказала, в чём дело...

Брата моего Димку на Кубу!.. услали!.. всхлипывая, шепчет отчаянно девушка и снова утыкается мокрым носом мне в грудь, прямо в уже расплывшееся по рубашке тёмное пятно.

А-фи-геть!.. бормочет в ошеломлении мой внутренний голос... Меня бы кто послал туда!.. а эта дурёха мне сопли развешивает на груди!..

Перед моим внутренним взором встают вдруг оперённые, будто головные уборы индейских вождей, верхушки пальм на фоне багровых революционных закатов... Одеты в зелёные армейские куртки «барбудос», Фиделевы партизаны – молодые, густо загорелые... улыбки будто клавиатура аккордеона и поднятые над головами в братском приветствии автоматы... гибкие развесёлые негритянки с невыносимо желанными задницами... белый песок на пляже Копакабана!.. впрочем, стоп, это уже не на Кубе... хотя чем песок хуже на Кубе?.. Мне вдруг нестерпимо захотелось туда, на Остров Свободы, строить с этим знойным народом настоящий, душевный социализм... не это гнилое беспросветное дерьмо, в которое всё давно уже вылилось и застыло гранитным навозом у нас...

Но я знаю, что никто **меня** туда не пошлёт. И не мечтай. Будешь тут всю жизнь притворяться, что строишь их светлое завтра, пока не сдохнешь. А тогда эту эстафетную палочку всунут по самое немогу твоим деткам – если по глупости нарожаешь новое поколение октябрат...

И чего ты тут слёзы распустила?.. говорю я тихо в недоумении... Да меня бы кто пустил – я б на камере от грузовика туда поплыл!..

Но эта дурёха, услышав мои слова, начинает реветь как белуга.

Наа!.. прочитай-ай!..

И теперь сама уже суёт мне в руку этот смятый, покрытый детскими каракулями листок, явно вырванный из потрёпанной школьной тетрадки.

Я всматриваюсь в налезающие одна на другую строчки, написанные явно второпях или в отчаянном страхе.

А может, и в том и другом.

...везут их теперь на грузовом параходе запрятавши в самом низу под палубу там где эти ракеты а но это совсем не страшно там ракеты лежат пустые без топлива и я вроде слышал бес головок. Но только вот если америкашки полезут проверить то капитану приказ есть чтоп трюмы не открывать а немедля топить параход как есть чтоп ракеты не попали им наглаза а там внизу наши солдатики значит как крысы какие и всем будет хана. А только ты Тося не думай плохово не надо всё хорошо кончица и твой Димка вернётца домой. А письмо это тут же сожги или порви на кусочки если кто настучит мне тогда рудники где уран и никогда не увижу маму и тебя...

Я снова и снова перечитываю эти кривые торопливые строчки. Что за бред?.. Какие пароходы, какие ракеты?

Мистификация...

Тося!.. говорю я в недоумении... Это хуй... кхм... фигня какая-то, а ты вон вся на слёзы изошла, и меня в них утопишь скоро. Ты всерьёз принимаешь эти каракули сумасшедшие?..

Она вырывает у меня из пальцев листок и не глядя суёт в карман своего плаща.

Петька не сумасшедший... А ты просто ничего не понимаешь...

Девушка говорит это каким-то вдруг спокойным, отрешённым голосом.

Никто ничего не понимает... и не знают... И понять не хотят...

Ну так ты объясни мне!.. с жаром говорю тихо я, прижимая девушку ещё крепче к себе и ощущая, как её тугие немалые груди расплываются у меня по рёбрам.

Брат мой, Димка, служит в ракетных войсках... А Петя этот, он там при штабе в придурках, все слухи первым узнаёт. Понимаешь?.. Он со мной в одном классе учился, ну и...

Тосино лицо вдруг краснеет.

Ты только не подумай... говорит негромко она, опустив глаза... У меня с ним ничего не было... такого...

Она вдруг, будто опомнившись, решительно высвобождается из моих рук.

Пойду я... говорит девушка, оглаживая примятый плащик... А ты того... никому ни слова, ладно?

Не сомневайся... говорю я и ощущаю, как холодит мне грудину мокрое пятно от её слёз. Как тебя хоть зовут?.. спрашивает она, уже уходя и вдруг обернувшись.

Я называю себя.

Тося кивает в ответ.

А общага, что ты спрашивал, помнишь?.. вот она...

И добавляет с чуть лукавой улыбкой, промелькнувшей, как луч солнышка сквозь серую тучу, на запухшем от слёз лице:

Ежли вдруг что – я на самом верху, комната номер девять... Спросишь Никонову Антонину...

Я долго смотрю ей вслед...

Потом поднимаю авоську с бутылками и решительным шагом направляюсь к площади Льва Толстого.

Чувствуя, как всё туже сводит от голода мне живот.

И как подсыхает и вскоре перестаёт ощущаться влажное пятно от слёз девушки у меня на груди.

Лекция профессора Петруччи

Вопрос: *Какая разница между котлетами и биточками в нашей столовке?*

Ответ: *В биточках 95 процентов сухарей, а в котлетах – 96. (Из студенческого фольклора 1-го Медицинского)*

Женские слёзы – страшная сила...

Валяюсь я теперь в нашем изоляторе для студентов, с каким-то паскудством вроде коклюша. Или скорее бронхита. Просквозило гнилым питерским ветром... наверное через мокрое то пятно, которое неделю назад мне девочка на груди оставила... А может, вспотел, обожравшись студня с батоном на радостях, что та тётка бутылки приняла и как есть, до копеечки, рассчиталась.

А теперь вот результат. За грудиной хрипит при каждом вдохе, и кашляю аж до слёз.

Лежу в больничке нашей институтской для студентов, совсем один. И от нефиг делать читаю наставления Брюсова Валерия, о том как пишут стихи. Ямбы там, хорей...

*И вечность простоят у озера Мериды
Гробница царская, святая пирамида...*

Тьфу!..

Стук осторожный в дверь. И заходит жирный араб, из наших иностранных студентов. Тот самый, с которым мы в столовке за одним столиком обедали вроде с неделю назад.

Ливанец, что ли. Кольцо толстенное золотое на пальце, с чем-то вроде печатки. Прямо перстень.

Я ел тогда свою куцую котлетку, глядя застенчиво в тарелку. А этот ел глазами меня. Глаза у него как сливы – большие, чёрные, на выкате. С жирным блеском.

Странный тип.

И теперь вот заходит он, большой, с лицом прямо коричневым от загара на их Средиземном море... и ставит на тумбочку передо мной коробку, перевязанную красивой шёлковой ленточкой.

Это тебе от меня такой маленьки подарок!.. говорит он и садится сбоку на мою постель. В палате у меня кровать и тумбочка. И всё – ни стула, ни табуретки.

Зачем ти тут заболел?.. Я искал тебя там в столовая, нигде нет. Патом эта твой... Валя!.. сказал ти в эта болница лежиш, адин скучна...

Я смущённо (и чего ему надо, этому толстому?) развязываю красную ленточку и открываю коробку.

Там настоящий сливочный торт!

Аромат шоколадный выползает из коробки густыми клубами.

Ну зачем ты это?.. невольно глотая слюну, говорю нерешительно я... Это ж какую кучу денег стоит!.. И небось, в Елисеевском покупал, где ж ещё...

А!.. говорит он пренебрежительно и отмахивает рукой с жирно-матово сияющим перстнем... Это какой денги?.. Это смешной денги!..

И поколебавшись на миг, вдруг оглаживает ласково мою руку.

Мне лень снимать его пухлые волосатые пальцы с плеча. Да и пусть себе. Может, у них там в Бейруте так принято выражать сочувствие? И нас же учат, что надо быть всячески дружелюбными к иностранным студентам.

Хинди-руси пхай-пхай, одним словом...

А у тебя что, такая большая стипендия?.. спрашиваю я с интересом...

Ливанец улыбается и выкатывает в иронической гримасе свои глаза-сливы.

Очен ба-алшой!.. говорит он, почему-то с иронией... Цели девяносто рублей...

Ох, ни фига себе!.. думаю я... Даже больше, чем у этих гедээровских фашистов, что у нас в общежитии занимают целый этаж, самый верхний.

Нас туда вообще не пускают, но буфет в общежитии один. И эта зажатая на своей огромной стипендии немчура (говорят, им по семьдесят три рублика платят!) расслаивается часами целой оравой за столом, на котором дымится гора сарделек. Бабы жирножопые, аж глютеусы свешиваются с обеих сторон стульев. Чего-то обсуждают, хохочут... и смотрят с откровенным презрением на нас.

А мы что? У нас стёпа на втором курсе двадцать четыре рэ пятьдесят коп. В аккурат на полмесяца нормальной, без голода, жизни. И сидим мы в углу, с одинокой сосиской на троих, вприкуску к бесплатно наваленному горкой ломтями чёрному хлебу. Тётки-буфетчицы народ сердобольный, да и каково им-то, войну пережившим и это немецкое «бабка-давай-курка-йяка!» помнящим – каково им смотреть на обжорство это нахальное, и на нас тощеньких и голодных. Вот и кладут нам, что могут – хоть хлеба в живот напихать...

Но у этого-то жирного араба, с его перстнем в пол-кило золота, у него, оказывается, стёпа ещё покруче, чем у шумливых гестаповцев из общежития. Да я после института столько получать не буду: семьдесят рэ тебе в зубы – и спасибо родной партии за счастливое детство...

Нежданный посетитель истолковывает моё долгое молчание как-то по-своему.

Т тебе наверно денги нет совсем?.. говорит он, нахмурясь... Балной, кушать надо хорошо. Вот возьми!..

Он засовывает руку в карман и вытаскивает смятые небрежно бумажки разного цвета, с лысыми гениями на каждой.

Да зачем ты?.. слабо протестую я и закашливаюсь... Тут нас кормят...

А сам думаю опасливо: может, вот так не заметишь, как в шпионы зачислят?..

Но тут же с улыбкой отбрасываю эту мысль. Ну какие у нас в институте могут быть страшные тайны? Военно-морская кафедра и лекции на тему «Построение полка при атомной обороне»? (Быстро завернуться в белый халат и медленно ползти в сторону кладбища? А мед... лен...но, товарищи студенты – это чтобы не создавать паники!.. Есть ещё вопросы?..)

Или сколько трупов плавают в формалиновой ванне в анатомичке?..

Не смей пизду, она и так смешная... как любит говорить вот в таких именно случаях мой друг Толик Алексеев с Чайковской, тёткин сосед и отличный парень. А уж он, по части пизды, толк знает – был в восемнадцать женат, а в двадцать развёлся. И немало их всяких, до и после, успел посмешить...

В отличие от меня...

Ливанец запикивает пригоршню денег под подушку, не слушая моих возражений.

Эти денги никакой не денги!.. говорит он, пожимая округлыми плечами... Мне папа сколько надо присылает... Ты лечись, мы потом отпраздновать будем...

Он легонько то ли гладит, то ли похлопывает меня по щеке и уходит.

Я откидываюсь на подушку, утирая рукавом потный лоб. Торт на столе источает немислимый аромат. И пригоршня денег, даже не знаю сколько, под подушкой...

Это я теперь ливанский шпион?.. Или кто?..

У входа в институтскую столовку небольшая, но густая толпа. Читают какой-то плакат.

Подхожу и с трудом протискиваюсь.

Интересно!..

СЕГОДНЯ В 19.00 В 7-й АУДИТОРИИ

СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФ. ПЕТРУЧЧИ (Италия)

На тему:

«Выращивание эмбриона человека ин-витро»

Приглашаются все желающие преподаватели и студенты

Ну и дела!

Это что ж, настоящий итальянец к нам приехал и будет читать свою лекцию? И нам даже можно придти и послушать?

Подчеркнём тут: не какой-нибудь румын или болгарин задрюченный, из нашего соц-зарубежья.

Итальянец! Из капстраны, пусть даже у них там, как пишут наши обосреватели в своих репортажах с петлёй на яйцах, каждый второй на улице член компартии, а не то чтобы просто член.

Ну и дела... ничего себе таки оттепель!..

В столовке полно народу.

Хватаю обгрызенный коричневый поднос и скорей в очередь на раздачу. Щи дежурные – огрызки капусты привольно плавают в водяной пустоте. На второе биточек. Вот он, прилепился сбоку сиротливо к горке комковатого пюре. И – гулять так гулять! – на третье компот. Сладковатая водичка, с половинкой разваренной сливы на дне стакана.

Вижу издалека несусветную Валькину шевелюру за одним из столов в уголке. Заметив меня, Валька машет. Сюда, мол.

Я подношу свой тяжёлый поднос, стараясь не расплескивать щедро налитые в тарелку щи. Сажусь напротив Вальки за столик – четыре ножки из водопроводных труб, накрытые толстой фанерой, и сверху ещё слой пластмассы.

Видал объявление?.. говорит Валька... Надо пойти!..

Его серые маленькие глаза возбуждённо горят в красной, как обваренной кипятком, физиономии. Сверху шапка волос – будто серое облако зацепилось за вершину холма. Густая волнистая шевелюра неопределённого цвета. То ли ранняя седина, то ли поздняя перхоть. И как ни старается Валька причёсывать и приглаживать эти буйные джунгли, результат нулевой.

Хоть надевай сеточку.

Ну понятно, пойдём... отвечаю я с каким-то даже жаром... Когда нам опять живого итальянца покажут! Который ещё и детишек в колбах выращивает!..

После обеда мне в анатомичку.

Не люблю я препарировать трупы.

Хотя как-то раз на спор даже съел бутерброд возле длинного оцинкованного стола, на котором лежало бурое, с фиолетовым оттенком, тело мужчины. Этот труп был особенный, и девки наши, пошептавшись и похихикав в углу, одна за другой как бы ненароком прохаживались неспеша мимо этого стола по каким-то своим делам, с покойником уж точно не связанным.

Особенность была в том, что у этого трупа сизая и пропитанная формалином псышка торчала упрямо вверх, всем смертям назло.

Может, умер прямо на бабе?.. сказал философски Валька Дугин, обращаясь ко мне... Как считаешь?..

Сегодня передо мной на таком же суровом столе, в пропитанной жирной химической вонью атмосфере анатомички, лежала женщина. Бурое, как всё тело, лицо её под голым обстриженным черепом, выглядело странно-спокойно.

У всех других трупов в анатомичке лица были искажённые предсмертными гримасами – от удушья ли, от отравления денатуратом, от привета кувалдой по черепу... Да и кто попа-

дал сюда, в нашу анатомичку? Без вести пропавшие?.. алкаши, за чьими бренными останками никто и не потрудился наведаться?.. убийцы, что сами попали на мушку, не успевши нажать на спуск?..

Бурое иссиня тело женщины, что лежала сейчас передо мной на лаконичном, суровом цинке стола совсем нагая, было неправдоподобно красиво. Только полные, но не чрезмерные груди слегка слежались, примятые другими телами в тесно заполненной формалиновой ванне. Все прочие обводы остались, как наверное были при жизни.

Лежала она, в сиянии ярких ламп над столом, будто какая-нибудь негритянка на пляже под солнышком. Я стоял со скальпелем в затянутой в резиновую перчатку руке и смотрел зачарованно на её могучие, будто из бронзы отлитые бёдра, которые сходились к низу плоского широкого живота, упокоенного в междугрядье подвздошных костей. Там, где сходились вместе эти мощные ляжки, над плоской равниной живота выступал поросший короткими волосами бугор. Чёрная щель, будто врубленная снизу в этот бугор, не давала бёдрам сомкнуться.

Кто была эта женщина с упоительными обводами тела? Кто вторгался когда-то, хрипло и возбуждённо дыша, в эту чёрную щель, изнемогая от необходимости влить туда, в сокровенные глубины этого тела, свои заветные соки жизни?..

Я долго и хмуро стоял, как зачарованный, над ней – безответной, бесстыдной и беззащитной, со своим святотатственным скальпелем.

Потом тяжело вздохнул и сделал первый надрез.

Кожа легко, с тихим треском, уступала стальному острию. Под ней в разрезе был виден толстый слой желтоватого жира. Под ним фасции... неожиданно слабые для таких мощных бёдер мышцы...

Но это уже была анатомия. Красоту я только что собственноручно и невозвратно зарезал. У этого стола я не взялся бы сегодня съесть на спор бутерброд.

Мы встречаемся с Валькой Дугиным на аллее у корпуса анатомички. У нас тяжеленные портфели, набитые учебниками и атласами, и провонявшиеся формалином белые халаты.

До лекции итальянского профессора ещё есть часа полтора времени, и мы решаем пробежаться в общагу, чтобы оставить всё это дома и вернуться в институт налегке.

Осень, темнеет рано.

Когда мы спрыгиваем с трамвая на остановке возле института, у ворот, где проходная, толпится народ. Сами ворота закрыты, а у калитки, сбоку от будки проходной, какие-то два товарища в штатском строго требуют у входящих документы.

Тот, что постарше и поглавнее, время от времени громко и властно объявляет:

Граждане, вход только по удостоверениям!..

Я нащупываю в кармане куртки свой студенческий билет. Мы с Валькой, усердно работая локтями, протискиваемся в сторону калитки. Суём товарищам в штатском свои студенческие. Они внимательно смотрят, даже проверяют даты.

Суровые люди, однако...

Слегка помятые, мы рысцой бежим по аллее мимо столовки в сторону высокого корпуса, где Седьмая. Редкие фонари озаряют тускло асфальт аллеи и кусты каких-то костлявых, ввиду поздней осени, растений по сторонам.

Впереди шум и гам. Я вижу двух конных мильтонов, которые возвышаются великанами над толпой. Огромные лошадиные задницы лоснятся ухоженно в фонарном свете.

И где таких битюгов выращивают?.. спрашивает ошеломлённо Валька... Спец-порода какая-то, народ давить!..

Кони презрительно помахивают хвостами.

У входа в корпус толпища. Не протиснешься. Но мы с Валеё упорно просачиваемся в узкие щели между телами и вскоре попадаем в людскую стремнину. Нас неудержимо сносит

туда, ко входу, напором толпы. Давка страшная. Треск костей... не могу дышать. Людская лава неудержимо продавливается сквозь двери внутрь корпуса. Женские вскрики. Чья-то рука пытается удержать на голове сбившуюся набок шляпу... Но вот напор этот ослабевает и телесные массы разжижаются... и мы, порядком помятые и взопревшие, уже там, внутри.

В аудитории негде яблоку упасть. Полукружья столов и сидений круто нависают одно над другим, как в древнем амфитеатре. Я вижу в первом ряду, у самой сцены, созвездие наших институтских светил. Профессора наши, с любителем латинских изречений нормальным анатомом Привесом, в самом центре. Там же поблизости институтский декан, Айвазян. Ух ты!.. сам начальник пожаловал!.. ректор института генерал-майор Иванов... суровая ряха кубышкой над плотным коротконогим телом... Сразу и не узнать, в гражданском пиджаке...

Из боковой двери застенчивый алкаш в сером халатике, технический ассистент, выносит наглядные пособия: свёрнутые в рулоны листы ватмана с иллюстрациями.

Потом раздаются жиденькие хлопки.

Из той же двери выходит мужским решительным шагом профорг нашего института, ни имени ни фамилии которой я никогда не мог запомнить, по причине суровой ненадобности. Ну, выступала пару раз на собраниях, типа дадим родной партии и лично Никите Сергеичу... буфера у тётки, однако!.. так и рвутся вперёд, из модно-строгого свитера с вырезом, прямо в светлое будущее, и заносят всё остальное, несуразно-мужское по форме, тело на поворотах.

Товарищи!.. объявляет профоргша решительным басом, в котором улавливается искреннее недоумение... Товарищи! Наша партия, как мы все хорошо знаем, всегда выступала за братскую дружбу народов. И вот сегодня, товарищи!.. у нас в гостях известный профессор из Италии доктор Петруччи. Мы, товарищи!.. тут тётка обводит аудиторию взыскующим взором... мы, конечно, считаем многое в его методике и выводах... ээ... спорным и противоречащим нашему единственно верному марксистско-ленинскому учению...

Вот сука!.. думаю я и неожиданно для себя начинаю громко хлопать в ладоши. Сидящие и стоящие рядом на самой верхотуре, на ступеньках прохода, студенты азартно присоединяются. Не разобравши, в чём дело, аплодисменты подхватывают и преподавы в первых рядах.

Мужебаба с буферами ещё открывает и закрывает рот, но её не слышно в буре овации.

И тут, явно решив, что аплодисменты выражают нетерпение зала скорее послушать его выступление, из левой двери на сцену выходит гномик с яйцеобразной лысиной над огромным лбом. Одет он в джинсы, на ногах трёхдюймовые каучуки, на свободную розовую рубашку с расстёгнутым воротом небрежно накинут песочного цвета пиджачок.

Лицо у гномика удивительно доброе и как бы малость сплющенное по вертикали. Широкий, будто у жабы, улыбочивый рот.

За живым итальянским профессором, стараясь не отпустить его далее трёх шагов, вышагивает, как циркуль, переводчица в легкомысленно-строгой юбке чуть выше коленок и таких сапогах, что по аудитории явственно проносится завистливый женский стон. Хорошо им там, в «Интуристе». Фарца сама плывёт в руки...

Бонджорно!.. говорит гномик залу и поднимает приветственным жестом обе ладони.

Здрав-ствуй-те!.. зачем-то объясняет дежурным голосом переводчица.

Профессор Петруччи терпеливо выжидает, пока интуристовская ласточка договорит это несуразно-длинное русское слово. Потом продолжает, активно жестикулируя обеими руками, на своём певучем и мягком наречии.

Ласточка старательно переводит.

Итальянский профессор явно привычен выступать в иностранных аудиториях, и говорит короткими, в две-три строчки, абзацами. Высказав очередную мысль, послушно умолкает и даже приглашает вежливым жестом переводчицу: давай, мол, толмачь...

Но я вижу, как с каждым таким абзацем, по мере углубления в дебри физиологии материнства и эмбриологии, ласточке приходится всё труднее и труднее. Запинается, подолгу подыскивает слова, морщит лоб под начёсом типа «я у мамы умница»...

Понятное дело... думаю я даже с некоторым злорадством... Это тебе не обслуживать посещение Смольного камарадами из итальянского цека...

Наконец, после нескольких долгих пауз и вежливого ропота в зале, до живого профессора-итальянца доходит этот кризис международного положения.

Аллора!.. извиняющимся тоном говорит в зал профессор Петруччи, вздевая открытыми ладонями кверху обе руки. И немного сконфуженно улыбается своей доброй открытой улыбкой. Потом он что-то быстро шепчет интуристовской ласточке. Та кивает растерянно и циркульными шагами на своих упоительных каблуках уходит, не оглядываясь, со сцены.

Оо-кей!..

Профессор Петруччи, улыбаясь, оглядывает зал. И протягивает к аудитории ожидательным жестом правую руку.

Шелл ви трай ту ду ит ин англиш?.. говорит он с некоторым сомнением и надеждой.

Мне видно, как переглядываются наши светила в первых рядах. Декан Айвазян что-то шепчет на ухо ректору. Генерал сердито кивает своей лысой кубышкой, оглядывается на зал и, всмотревшись, тыкает начальственно короткопалой лапой

куда-то в пространство.

Я вижу, как встаёт застенчиво из задних рядов наша учительница английского Марина Николаевна. И идёт, тяжело хромая и опираясь на палку, вниз по проходу.

Изысканно-вежливый Привес галантно подставляет ей ручку и помогает взобраться на сцену. Профессор Петруччи с чувством пожимает несмело протянутую руку и говорит что-то с обворожительной улыбкой.

Бедная Марина Николаевна, непривычная к мужскому вниманию, стоит в своей длинной, чуть не до пят, коричневой юбке и чёрной бесформенной кофте, тяжело опираясь на палочку. Ей явно неуютно быть в центре внимания этой огромной, заполненной до отказа народом, аудитории.

Оо-кей!.. говорит с облегчением итальянец... Shall we start then?..

Зал умолкает в ожидании.

Профессор говорит своими короткими абзацами. Марина Николаевна переводит не без труда, иногда переспрашивая в не совсем понятных местах. Бывшая военная переводчица, она медицину не изучала.

Среди светил в первом ряду сидит человечек, до смешного похожий на итальянского визитёра. Это профессор нашей кафедры нормальной физиологии. Такой же маленький рост, несуразно большая яйцеобразная голова. И слегка приплюснутое сверху вниз лицо.

Только вот, в отличие от итальянца, у нашего гномика улыбка лицо посещает редко. И глаза всегда смотрят с опасливым подозрением.

Доцентом на этой же кафедре служит седовласый, породистый старикан. Говорят, что раньше он был профессором, а наш нынешний гномик ходил у него в ассистентах. Но потом великий Лысенко, Трофим Денисович, провозгласил анафему буржуазным лженаукам всяких там Вейсманов-Морганов, безродных этих космополитов. Навыдумывали, понимаешь, жидовские теории про наследственность, нуклеиновые кислоты и прочую хрень. А нет чтобы поддержать нашего великого русского селекционера, когда тот чуть не свалился со своей грушегато-берёзовой земляники. Которую сам вывел, да скромно так и назвал: Березимняя Мичурина...

Породистый старикан был, по глупости, сторонником лженаук. И говорят, даже не вступал, из принципа, в нашу партию. Ассистентик и настучал куда следует.

По прежним временам загремел бы породистый профессор на Колыму. Но на дворе у нас оттепель. Дорогой Никита Сергеевич барабанит туфлём по трибуне в Объединённых Нациях. В Москве прогремела уже американская выставка, с хромированными кадиллаками и воздушными небоскрёбами из алюминия и стекла. И начальство просто сделало рокировку. Ассистент нынче профессор, а профессора скинули в доценты.

Чтоб не выёбывался.

Вот такая у нас теперь добродушная, мягкосердечная власть...

Профессор Петруччи, между тем, продолжает свои выкладки, тыча указкой в один из развешанных на грифельной доске плакатов. Алкаш в сером халате только и успевает их менять.

И тут наступает заминка.

После особо сложной и длинной тирады Марина Николаевна растерянно хмурит лоб. Потом переспрашивает итальянского гостя. Тот кивает утвердительно: да, мол, не ослышалась, всё правильно...

Бедная Марина Николаевна разводит руками...

Я не понимаю... говорит она растерянно залу, обращаясь в основном к первому ряду, где ворочает нетерпеливо кубышкой наш генерал в штатском...

Он тут какие-то «джинс» всё время упоминает... Это что же за джинсы такие?.. Не может же быть чтоб штаны...

Над залом повисает зловещая, беременная тишина.

Да гены это! Понимаете, ГЕ-НЫ!..

Где-то в пятом-шестом ряду встаёт наш породистый бывший профессор, а ныне скромный доцент. На лице его ярость и презрение.

Я вижу, как вжимают головы в плечи и стараются стать незаметными-серенькими все сидящие вокруг него люди.

На сцене Марина Николаевна пожимает потерянно плечами и, тяжело опираясь на палку, отходит куда-то к стене.

Одному итальянцу, чужому на этом пиру советской науки, всё как гусю вода.

Синьор!.. восклицает радостно профессор Петруччи, протягивая в зал обе руки навстречу доценту... Прего!.. Плииз!.. Be so kind!..

Доцент неуклюже выходит из своего ряда, грузно шагает вниз по проходу и поднимается по боковым ступеням на сцену.

В первом ряду растерянное молчание. Одним словом, картина художника Саврасова «Не ждали».

А может, не Саврасова, но вы понимаете, что я имею ввиду.

Я вижу, как съёживается в своём кресле яйцеголовый гномик, завкафедрой нормальной физиологии.

А на сцене заезжий профессор из Италии продолжает свою крамольную лекцию. Породистый доцент легко, с полным знанием дела, переводит.

Иногда, правда, он сам останавливает итальянца, переспрашивает и даже пару раз оживлённо вступает с ним в дискуссию.

Любо-дорого посмотреть!

Под конец итальянец с чувством долго трясёт протянутую доцентом руку и приглашает уважаемого коллегу обязательно приехать в Милан, поработать у него в институте.

Ну как же, думаю... всенепременно!..

Мы выходим с Валькой в потоке людей из корпуса. На свежем воздухе дышится странно легко. Менты на своих битюгах уехали, как не бывало. Только ещё дымятся на асфальте аллеи две навозные кучи.

Как думаешь, посадят?..

Валька напряжённо смотрит мне в глаза, ожидая ответа.

Не знаю... говорю я и пожимаю плечами... Хрен их разберёт. Вон какого-то Солжицына напечатали, про лагеря. Кино-застрелись, про Америку, в «Великане» крутят. Может и не посадят, просто выгонят...

Проходит неделя... потом ещё одна...

Я сдаю зачёт по нормальной физиологии. Попадаю к доценту. И вопрос, как назло, тот самый.

Бубню что-то там насчёт буржуазной теории генов, нехороших Вейсмана с Морганом, и непогрешимого академика Лысенко. Трофима Денисыча...

Мне стыдно смотреть доценту в глаза.

Он выслушивает мою бормотуху с таким снисходительным великодушным терпением.

Да... говорит он с лёгкой иронией в голосе... Вот-вот, буржуазная теория генов... хорошо...

И с лёгким вздохом сожаления протягивает мне зачётную книжку.

Кокушки

Труд в СССР есть дело чести, дело славы, доблести и героизма...

(Из «Морального Кодекса Строителя Коммунизма»)

Голод не тётка.

Впрочем, у тётки моей на Чайковской тоже сильно не разговеешься. С другом моим, с Толиком (он живёт в той же квартире, дверь вторая от входа, рядом с тучной блядью, что поселилась недавно в самой первой комнате от входной двери) мы скидываемся иной раз на кружок кошачьей колбасы и готовим макароны по-флотски.

Толик – высокий ладный парень в очках. Вьющиеся светлые волосы. Говорит обо всём с лёгкой иронией в голосе. Картавит, но это лишь добавляет интеллигентности и шарма его манере общаться – этакое французское «грассэ». Совсем не похоже на то, как изображают повсюду, обидно и грубо, еврейскую национальную картавость.

Девки к Толику липнут со страшной силой. Но после первого же сеанса в постели, а может и в лесу, голым задом на муравейнике, большинство из них тут же отлипают – у моего друга в штанах все двадцать три сантиметра молодой и горячей плоти.

И это не каждая баба выдерживает.

Проблема...

Иногда к нашему пиру присоединяется Васька, что живёт со своей тощей безгрудой Тонькой в комнате справа от кухни. Чтобы к ним попасть, надо из входного предбанника с драным линолеумом на полу (справа дверь в уборную, где вместились впритык к унитазу старая эмалированная ванна) войти налево в проходную кухню, протиснуться мимо плиты и шкафчиков, которых по штуке на комнату... и там прямо – дверь в тётушкины покои, а направо дверь к Ваське и Тоньке.

Детей у них нет. Работает Васька токарем на «Светлане», и недавно остался без глаза: очки, положенные по инструкции, не надел и острый отломок дюралевой стружки влетел ему прямо в глаз. А чего ж – крылатый металл...

Теперь у Васьки стеклянный правый глаз, ещё краше чем был настоящий. И любимый коронный номер у нашего токаря, когда приходят неосведомлённые и никак не готовые к неожиданностям собутельники, это при первом тосте поднять рюмку повыше и вдруг легонько стукнуть краем этой посуды прямо в глаз. Мол, поехали!..

Этот нежданно-стеклянный звук действует неотразимо, поверьте.

Особенно на девиц...

Когда Васька унюхивает в своей комнате, что на кухне жарят кошачью колбасу, он обычно высовывает в приоткрытую дверь свою круглую одутловатую физиономию, на которой расплывается блаженная улыбка предвкушения.

Ну чего, студенты?..

Толик при этом задумчиво размешивает в чёрной, покрытой слоями жира сковороде свои привычные «макаггтроны по-флотски» и делает вид, что не слышит. Я стою в стороне и углублённо изучаю кружочки и полосы на грязноватых обоях.

Ну чего, доценты?.. говорит обиженно Васька и протягивает в нашу сторону смятую синюю пятёрку... Кинем на морского, кому бежать в монопольку?..

Мы с Толиком переглядываемся. Шарим по карманам в попытках найти недостающие на две бутылки «Московской» рубль и четырнадцать копеек.

Эх вы, академики!.. говорит неодобрительно Васька... И чему вас там только учат, в этих ваших сраных институтах...

Таких объявлений понаклеено по всем фонарным столбам вокруг нашей общаги.

Я представляю себе, как сижу я надутый и грозный «в наряде». И наряд мой – солдатская, только синего цвета, гимнастёрка, кирзачи да распухшая от нагана кобура на заду... и каждые три дня пропускать все лекции и прочие пары?.. и кто вообще возьмёт меня, с красноречивым еврейским носом, на эту сугубо славянскую должность?..

Повздыхав, я иду на пол-ставки «в ночное». Разнорабочим на комбинат технических тканей «Красный Маяк». Это от нашей общаги через мост и в конце налево. С пятков остановок трамваем. Можно запросто доехать и зайцем. Экономия. Три копейки, они тоже не лишние, для тощего студенческого кармашка.

Кто такое «разнорабочий»?

Это вроде учёного опять же медведя. Который умеет по команде становиться, скажем, на задние лапы и толкать перед собой разноцветный шар. Или тачку кирпичей...

Две ноги, две руки и одна извилина...

В цехе жарыща влажная. Ткацкие станки лязгают и стрекочут, и стальной этот клёкот сливается в оглушительный шум. Невыносимо воняет едким женским потом – вокруг меня одно бабё. Изредка промелькнёт мужчина, наладчик в синем комбинезоне. С лицом, на котором большущими буквами, как «Слава КПСС», написано усталое омерзение ко всему женскому полу.

Я начинаю понимать это, странное для меня поначалу, чувство с первой же ночи на работе. Распаренные полуголые бабы донимают меня со всех сторон. Наглые от своего подавляющего численного превосходства, они что-то кричат мне, раззевая, как рыбы в аквариуме, жадные рты.

Их выкрики тонут в грохоте станков. Но я вижу зато ухмыляющиеся грубые лица. Их глаза бесстыже раздевают меня, а от жестов хочется провалиться сквозь бетонный пол цеха.

Хорошо хоть не слышно их слов.

Работа у меня нетрудная. Чисто бабская.

Я подтаскиваю лёгкие алюминиевые барабаны, открытые с одного торца и заполненные пряжей, к станкам, которые сплетают эту пряжу в косу. По прядям, выползающим из барабанов, катятся железные ролики. Если где кончается пряжа – ролик соскакивает на голое железо станка. Замыкается контур и у меня перед самым носом вспыхивает лампа чуть не в тысячу ватт, а станок останавливается.

Тогда я подтаскиваю новый барабан взамен опустевшего. Заправляю пучок пряжи под ролик. Нажимаю кнопку пуска. Станок, встрепенувшись, начинает опять сплетать в толстую косу пряжу из восьми барабанов.

Вот и все дела.

Эта работа (пол-ставки, для слабоумных) будет давать мне те деньги, которые раньше, до нелепой смерти отца, мне присылали из дому.

Но теперь отца нет.

Благодарная родина, которую он заслони́л собой в Сталинграде и на Курской Дуге, устроила похороны по скромной, но приличной программе. Несли на подушечках ордена. Стонали медные глотки оркестра. Стреляли у могилы по облакам...

Потом полгода платили какие-то позорные крохи вдове и на школьницу-дочку.

А дальше – будь здоров и не кашляй...

Работа моя в самом деле нетрудная. Если бы не жара и оглушительный лязг станков. Если бы не чёртовы бабищи, которые не дают мне проходу. Если бы к утру не хотелось смертельно спать!..

Утром после ночной этой смены я, весь в поту и оглохнув, лечу сломя голову в общагу. И моюсь холодной водой из-под крана в бывшей гренадерской умывальне.

Потом, не успев просохнуть, бегу в институт.

Хорошо, если первая пара лекции. Можно прилечь головой на стол и с полчаса подремать...

Я работаю через день. Так проходит неделя. Начинаю как будто привыкать. И бабы вроде слегка уже свыклись с моим присутствием. Вот и сегодня что-то не дразнятся как обычно. Даже малость странно...

Незадолго до перерыва на обед (это в два часа ночи!.. но сидят и едят привычно кто чего принесла с собой из дому) ко мне подбегает молодуха с группы станков, что слева.

Ты того, слышь?.. кричит она мне почти прямо в ухо... Ты перед самым обедом загляни к нам в раздевалку, там тебе девочки кой-чего... ну, объяснить хотят... Так придёшь?..

Я слегка удивлённо киваю. Приду, мол. Неудобно, с одной стороны, в раздевалку к бабам. Но с другой, если сами зовут, отчего бы и нет?..

По звонку, громче и резче трамвайного, вдруг стихает грохочущий цех. Мой станок, резко дёрнувшись, замирает. Где-то выключен общий рубильник.

Обед...

Я неловко шагаю в дальний угол, к зелёной двери. Негромко стучусь...

Никакого ответа...

Нерешительно тяну дверь на себя. Она поддаётся без скрипа и я вхожу. По стенам длинные ряды серых жестяных шкафчиков с номерами. Едкий запах пота, смешанный с какой-то сырой рыбьей вонью, царапает ноздри.

Ни души... куда же они все подевались?.. И зачем тогда звали?..

Я улавливаю вдали приглушённые голоса и плеск воды. И, поколебавшись, иду вдоль батарей этих шкафчиков на звук.

Плеск и шум голосов становятся громче. Слышу какие-то весёлые выкрики и смех. Вот и дверь.

Постучать?..

Вдруг сзади крепкие руки подхватывают меня под оба локтя. И в полном молчании поднимают и вносят, остолбеневшего от неожиданности, в эту дверь.

Душевая.

Толпа голых баб. Громкий смех.

Картина художника Саврасова «Не ждали»...

Девки! Гляньте, кто к нам в гости пожаловал!..

Баба постарше... широкоплечая, огромные сиськи покачиваются влево-вправо при каждом шаге... подходит и смотрит бесстыже в упор мне в глаза.

И говорит шутливо-осуждающе тем, которые держат сзади меня под локти:

А вы что же, дуры? Завели гостя, одетого, прямо в душ?.. Непорядок!..

И тут я соображаю в смятении, что художник Саврасов, похоже, в данном случае ни при чём.

Ждали!..

Вот блядищи... мелькает у меня в голове... И что теперь дальше?..

Мне страшновато и смешно, но главное – жуть как неловко. Что эти бабы собираются со мной сделать? Не убить же. И не отрезать яйца, надо думать?..

Я пытаюсь высвободиться... не тут-то было.

Две здоровенные голые девки, что держали меня под локти, наваливаются плоскими худосочными сиськами мне на плечи и держат как в клещах.

По знаку командирши вся орава обступает нас со всех сторон. Чьи-то руки тянутся к моему поясу. Я даже не пытаюсь сопротивляться, куда там.

Через минуту я стою голый, как перед военкоматской комиссией. И даже чуть не жду, инстинктивно, что сейчас вот прикажут раздвинуть пошире ноги и нагнуться...

Насмешливые и любопытные глаза едят меня поедом со всех сторон. Провалиться бы сквозь землю... но под подошвами ног у меня очень твёрдый и склизкий кафельный пол – куда ж тут провалишься?..

Ну что, девахи?.. говорит удовлетворённо командирша и сладко потягивается, отчего её два арбуза приподнимаются и смотрят подслеповато большими коричневыми сосками мне в лицо...

Студентик-то вроде ничего, вкусенькой!.. Помоем его?..

Голые бабы со всех сторон вжимаются своими пузырями в меня, отрывают, гогоча, от пола и ташат в угол, где из дырявой осклизлой штуковины под потолком льётся горячая вода.

Эти упругие струи, при всей дикости обстановки, обалденно-приятно расслабляют...

Чьи-то руки оглаживают мне спину... ещё руки гладят, спускаясь всё ниже, по животу, который у меня от неожиданности напрягается квадратиками мышц – и это вызывает новый взрыв веселья... Ещё чьи-то руки оглаживают мои глютеусы³, заметно задерживаясь в прощелине... как ни странно, это даже приятно... ещё чьи-то руки шупают мои ляжки... рука, что втиснулась сзади промеж булок, лезет бесцеремонно дальше и ухватывает в жёсткую мозолистую горсть мои яйца.

Ну это уже совсем!..

Я хочу было вздёрнуться-возмутиться, но тут же соображаю, что никто здесь не станет и слушать. Их всех сейчас занимает лишь моё тело и особенно некоторые его части. А что есть ещё как бы хозяин всего этого плотского блюда – а эт ничего, счас-с мы его раскулачим!.. было ваше, станет наше...

Я сдаюсь и пытаюсь расслабиться. Закрываю глаза. Будь что будет... Когда-нибудь вскоре должен же кончиться этот обед?..

Руки шарят и шарят, настырно и нагло, по всему моему телу, втискиваясь во все самые кровавные закоулки.

Вместе с горячей водой...

Ощущения от этих шершавых пальцев были бы, наверное, невыносимы в таких дозах, если бы не мягкие тёплые струи, по которым давно соскучилось моё тело – в общаге у нас по утрам обливание холодной водой из-под крана хоть, говорят, и полезно для нервов и вообще, но...

Ах, вот же с... сука!..

К струйкам тёплой воды, обмывающим все мои прелести внизу живота, вдруг добавляется что-то новое. Липко-слюнявое жадно заглатывает мою корягу и присасывается будто пьявка. Я дёргаюсь и открываю глаза, но увидеть, кто и что там со мной проделывает, не могу. Я весь облеплен бабьими длинноволосыми головами, руками и наверное даже бёдрами.

Пытаюсь сучить ногами, но мои ляжки растянуты чуть не на шпагат – аж больно в паху. И зажаты намертво в чьих-то мозолистых лапах. Будто лягушка, которую растянули на подносе для вивисекции.

Жадная пьявка облизывает мои яйца, втягивает их в себя... чёрт!.. как грубо и поэтому больно... я обмираю в бессильном страхе и чувствую, как ещё одна втягивает в такую же горячую липкость мою корягу. И присасывается намертво, втягивая всё глубже и глубже в себя... ах-х, вот же с-суки!.. я ощущаю, как разбухает и взъеряется моя плоть в этом горячем капкане... склизкие жаркие мембраны захватывают её плотным засосом. Он то ослабнет, то втягивает аж до боли... я пытаюсь удержаться, не уступить!.. да где там... позорно и мучительно исторгаю все соки туда, в жадную сосущую глубь...

Капкан мгновенно растворяется и как не был... но тут же ещё один жадный рот набрасывается на мою корягу и высасывает все последние капли из моих глубин. Мои яйца медленно,

³ Большая ягодичная мышца (медицинское).

тянуче высвобождаются из мнущих губ... будто распухшие... болезненное и неприятное ощущение... и вдруг опять точно в капкан их всасывает... ещё одна!..

Лицо моё кривится от страха и бессилия... я понимаю, что пъявки не отвалятся, пока не высосут меня до корней волос и ногтей... ведьмы херовы!..

Ну-ко, бляди, погодьте!..

Это командирша им, что ли?.. мне трудно уже соображать... всё доходит как в тумане...

Девки!.. тащи шнурок!.. есть у кого?..

Властно командует, как в армии.

Или в тюрьге...

Я вновь пытаюсь вырваться, но держат крепко.

Чьи-то лапы сильно и грубо захватывают мою мошонку. Оттягивают... ловкие пальцы копошатся у меня между растянутых в стороны ляжек... что они там ещё вытворяют?..

Вдруг что-то тонкое затягивается у корня в обхват яиц. Зажало намертво. Будто перерезали...

Я вскрикиваю от страха и боли... впрочем... вроде не так и больно, просто перетянуло и врезалось будто обручем... жуть как неприятно...

Чего, милоч?..

Старшая заглядывает мне в лицо с заботливой издёвкой...

Неуж не вкусно те?.. А девки так старались!..

Зачем вы это?.. с трудом выдыхаю я и не узнаю свой голос. Сиплый от страха и какой-то прямо детский... Зачем перевязали?.. Что хотите сделать?!

А счас и узнаешь!.. Девки, чо хотим тут спрашивают... Ну, так чо хотим-то?..

А кокушки твои попользовать хотим, чего ж ишшо?..

Я узнаю ту стервь, которая меня сюда зазвала. Рот растянула до ушей, блядища!.. довольна...

Вот щяс надрочим-насосём, а кончать не сможешь, хоть двадцать девок на твоём красавце прыгай до утра!..

Милоч, ты понял?..

Это старшая опять.

Да ты не бойсь, не отвалятся...

Заботливо, почти по-матерински...

Они отрывают мои ступни от пола и тащат меня куда-то из-под душа. Валят спиной на узкую, жёсткую банную скамью. Старшая перекидывает могучую ляжку через меня и садится, раскорячась, мокрой щелью мне на грудь. Тя-а... жёлая, зверюга!..

Я вижу только её мощную, как надгробная плита, спину и уходящую, прямо перед моим носом, вверх посередке ложбину, где позвоночник.

Чьи-то руки подробно шупают у меня между ляжек, опять нахально вползая в прощелины, оттягивая мошонку (я ощущаю, какая она уже раздутая и нечувствительная, и это пугает не на шутку).

Чья-то мозолистая лапа ухватывает мою корягу и начинает грубо, торопливо драть. Я вытягиваю шею, чтобы посмотреть, кто это – но могучая спина Командирши заслоняет всё что происходит...

Мне отвратно, я пытаюсь извернуться, но куда там – задница Старшой припечатала меня всей спиной к скамье. Попытки сучить ногами тоже ни к чему не ведут, их захватили намертво.

Изуверство!..

Я с каким-то даже страхом ощущаю, как моя коряга начинает, невзирая на моё смятение и ярость, разбухать в этой мозолистой лапе и твердеть. Ну... что ж она, бля... подводит!.. не соображает!..

Я закусываю до крови губу, чтобы болью удержаться от эрекции, но хрен там!.. торчит как дубовый кол!..

Вижу жадные, блудливые ухмылки у баб, стоящих по бокам.

Ну всё, физдец котёнку! Сейчас заедят они меня до нервного припадка!..

Я зажмуриваю накрепко глаза и жду...

Вдруг тяжкий груз соскальзывает у меня с груди. И разом высвобождаются мои ноги... и слышен только шорох льющейся из душа струи...

Медленно разжимаю веки.

Я лежу один. Мучительниц будто ветром сдуло. С трудом поворачиваю голову и успеваю заметить, как последние голые, несуразно-огромные задницы исчезают в двери раздевалки...

Понятно... кончился обед...

Моя коряга, растёртая докрасна и саднящая, торчит в болезненном дурманном стояке, будто целит куда-то в потолок. Я в тревоге ощупываю раздутую мошонку, и с ужасом осознаю, что она уже не ощущает моих пальцев. Шарю судорожно по яйцам... вот она, тесёмка, которой их перетянули. Шнурок глубоко врезался вкруговую, и мне никак не отыскать в этой глубокой борозде завязку... что ж делать?.. меня охватывает почти паника...

А если не смогу развязать? Бля... кастрация!..

Вдруг вспоминаю, что у меня в кармане штанов есть складной ножик. Но где они, мои штаны?..

Я с трудом отрываю спину от врезавшейся в неё глубоко узкой скамьи и кое-как встаю. Коряга торчит, покачиваясь из стороны в сторону. На каждом шагу я ощущаю ляжками раздутую гулю мошонки. Тяжелой и нечувствительной...

Вот и раздевалка... там пусто...

Всё бабье уже в цеху... ударницы труда, гадюки!..

Моя одежда валяется у выхода из душевой.

Я лихорадочно шарю по карманам... вот он, ножик!.. только надо как-то осторожно, нехватало ещё там порезаться. Я пытаюсь просунуть палец под шнурок, втугую и намертво затянутый. Не получается, он слишком глубоко врезался... а яйца раздулись и твёрдые, как чугунное ядро...

Что делать?!

Я вдруг вспоминаю, что в ножичке есть ещё кривое маленькое лезвие. Крючком... Выковыриваю его, с трудом подсовываю под тесёмку и рывком тяну наружу.

Тесёмка рвётся.

Уфф!.. отлегло...

Я торопливо натягиваю свои помятые, поднятые с грязноватого пола трусы и майку. Потом всё остальное.

Мои яйца точно омертвели. Не ощущают ничего...

Я знаю, что уже сильно опаздываю к своему станку, что там наверное уже горит всю эту дурацкая лампа Ильича в пятьсот свечей.

Но не могу заставить себя выйти в цех. Представляю эти наглые ухмылки. Небось, наперебой подмигивать начнут. И орать во всю глотку... с насмешкой, перекрывая лязг станков...

В мошонке у меня вдруг точно полчища горячих муравьёв. Это пошёл кровообмен. Значит, наверное, не так и страшно. Не отвалятся... Как эта дура их назвала?.. Кокушки?..

Я подхожу к двери... вдыхаю с омерзением влажный жаркий воздух и выхожу в цех.

У моего станка зачем-то крутится та самая... которая меня зазвала в их раздевалку. Вот загорелась лампа, и она быстренько меняет местами пустой и полный барабаны, заправляет пряжу под ролик, включает снова станок.

Я подхожу, стараясь не смотреть ей в глаза.

А я тут за тебя приглядываю, пока придёшь!.. кричит она совсем по-дружески, по-свойски мне прямо в ухо, перекрывая клёкот станков... А то вишь мастер как увидит, да начнёт там разбираться...

Потом сбавляет голос.

Ты, студент, того... ты не сердись... тут знаешь, бабы наши уж и не помнят, как мужчина-то выглядит... ну и того, маленько подшутили... не обижайся, а?..

Я пожимаю несговорчиво плечами. Оглядываю исподлобья цех. Все напрочь заняты работой. Никто и не смотрит в мою сторону...

Ничего, значит, как и не случилось... только яйца у меня будто в кипятке опущены, да коряга хоть и улеглась, наконец, но вся саднит, растёрта до мозолей...

Я дорабатываю кое-как до утра, до конца смены.

И ухожу, ни с кем не прощаясь.

Зная, что больше не вернусь...

Яичница по-кавказски

Гоги, дорогой, ты наконец устроился?..

Нет. Пока всё ещё работаю...

(Из расхожего анекдота о «нацменах», 60-е годы)

Тяжело жить без денег.

Оставленное тогда ливанцем под подушкой, когда я валялся в изоляторе, давным-давно проедено. Мне позарез нужна какая-то работа. Хорошо б на каких пару часов в день, чтобы не так хотелось спать на лабораторных...

На двери столовки висит криво, курица лапой, исписанный листок бумаги, вырванный из школьной тетради. Требуется студент, развозить обеды с кухни в отделении торакальной хирургии... так... на четверть ставки!..

То что доктор прописал!..

Я почти бегом несусь в отделение знаменитого профессора Углова.

Успел. Раньше всех...

Старшая нянька, широколицая пожилая тётка, распухшая на хлебно-картофельной диете, осматривает меня придирчиво и тщательно.

Ну, ладно... говорит она, наконец, отрывая взгляд болотного, неопределённого цвета глаз от моего длинного неславянского носа и отошалай, после ночных смен в прядильном цехе, комплекции... Кушать, небось, охота?..

Я слатываю слюну и неловко киваю.

А сичас, сичас...

Она поворачивается всем разбухшим телом и кричит куда-то в дверь:

Маша!.. Заливай супа!..

Я заглядываю туда, в больничную кухню, и вижу здоровенную плиту, а на ней огромные чаны из железа, сковороды метра полтора диаметром, казаны, почерневшие от огня. Все эти сказочные ёмкости дымятся и шипят над жёлто-голубыми конусами огня из газовых горелок.

Другая тётка, помоложе и потоньше, выкатывает из кухни стол на трубчатых высоких ножках с колёсиками.

На таких в анатомичке развозят трупы из общей формалиновой ванны к оцинкованным столам.

На столе здоровенный чан из алюминия и две основательные кастрюли, побольше и поменьше. Изо всех трёх сосудов валит пар.

От запаха жратвы у меня слегка мутится в голове и засасывает с неодолимой силой под ложечкой.

На аромат сползаются из коридора ещё три тётки в грязноватых белых халатах, явно тоже нянечки.

Садитесь, девочки... хозяйски-добродушно приветствует их старшая... сичас мы, чем Бог послал, по-быстрому... а то вот тут студент ещё новенький, на развозке... и его покормим, тоже голодный, видно...

Меня сажают за обычный стол в углу раздаточной, няньки садятся рядом, с неназойливым любопытством поглядывая в мою сторону.

Старшая зачёрпывает половником суп из большого чана, сперва неспешно размешав, чтобы не наливать пустую воду сверху.

Кто-то вытаскивает из шкафчика уже нарезанный чёрный хлеб.

Няньки едят медленно, истово, устало...

Я тоже ем этот перловый суп. Он жидкий. Соли явно нехватает. А уж перец и лавровый лист тут и не ночевали... Но с голодухи эта больничная баланда кажется мне роскошным яством. Моя тарелка опустевает моментально.

Добавку хочешь?.. говорит почти ласково старшая по кухне... А то смотри, вон там картошечка, пюре... Котлетки у нас на счёт идут, на каждого больного, а супу да картохи ешь от пуза...

Вер, а Вер... говорит тут одна из пришедших няnek... У нас вчерась один там старичок дуба дал, царствие ему небесное, после операции. Его пока с довольствия не сняли... ты дай студенту котлетку, которая на него записана, из паровых, а? Дело молодое, ему мясного кушать надо...

Няньки с жалостью смотрят на меня. Одна вздыхает...

Ты кушай, кушай!.. говорит она, видя моё смущение... А то чего? Стоять не будет, так и девки любить перестанут...

Я чуть не давлюсь этой безвкусной серой паровой котлеткой, которая на вид и на вкус ещё страшнее тех, что мы едим в студенческой столовке. Едим, когда, понятно, есть хоть сколько-то денег.

Мне ужас как неловко. Я не могу поднять глаза. Жую, уставившись в тарелку.

Мне непривычно, что пожилые незнакомые тётки вот так запросто, обыденно и прямо говорят мне в лицо о ТАКОМ.

Но я чувствую в этих словах сочувствие и доброту. Да и кто они, эти женщины? Наверняка, прошли через блокаду, а и потом их жизнь не баловала – суровая и трудная.

И без мужчин...

А что теперь у них, думаю я с непривычной горечью. Работают тут за сущие гроши. Ну, чуть побольше нашей стёпы. Выносят горшки и утки из-под лежащих... обмывают тех, что ходят под себя... таскают, надрываясь, с кроватей на носилки и обратно.

Этот обед – перловый суп да жидкое пюре – в их глазах абсолютно законная компенсация за тяжёлый, невесёлый труд и за грошовую его оплату...

Да и кто там проверяет, сколько супа и пюре потом достанется больным... И варят-то всегда «с походом»... И больным же родичи всегда приносят что-нибудь вкусненькое из дому...

Наевшись, няньки разбредаются по палатам. У них всегда полно работы.

Я толкаю тяжёлую каталку с кастрюлями по длинным коридорам, где пол застлан рваным линолеумом цвета детского поноса. Мимо кроватей, на которых лежат на рваных простынях под грубыми солдатскими одеялами тяжело больные с иссушёнными, серыми лицами. В палатах вечно нехватает места, и в коридорах едва остаётся свободного пространства, чтоб протиснулась вот такая каталка – с едой из кухни или с новым пациентом, или с ещё тёпловатым покойником...

За эти каждодневные два часа работы мне полагаются совсем позорные гроши. Четверть ставки. Но с возможностью поесть раз в день горячее – это тоже не так и плохо...

А у нас в комнате, между тем, пополнение!

Пришёл со своим ободранным, тёмно-рыжего цвета, чемоданом весёлый кавказец Жора. Чемодан перевязан солдатским ремнем с потускневшей бляхой, на которой пузатая пятиконечная звезда.

Лицо у нашего нового сожителя чернявое и хитро-туповатое. И из всей этой круглой противоречивой физиономии торчит, как огурец, большущий нос.

Куда там моему, хотя и он не бородавка...

Первым делом энергичный кавказский человек осваивает новое жилое пространство. Зачем-то обнюхивает тумбочку. Потом переворачивает матрас, будто надеясь, что на обратной стороне окажется меньше размытых желтоватых пятен от чьей-то давней дробки, и бурых

клякс, оставленных раздавленными клопами. Цокает неодобрительно, вздыхает... и оставляет матрас лежать, как был.

Ну – и чем вы тут все промышляете?.. спрашивает Жора у старожителей нашей комнаты, поглядывающих не без интереса на то, как основательно, по-женски, обустроивает свой новый угол этот азербайджанец. Зовут его на самом деле, наверное, как-нибудь вроде Зураб Деризадэ, но пусть будет Жора – и ему уютнее, и нам ловчее выговорить.

Так что? Чем промышляете, братва?.. ещё раз спрашивает Жора, обводя нас всех внимательными чёрными глазами.

Узнав, что в общем-то ничем, новенький искренне удивляется.

А как вы тут живёте? На эту?.. на стипендию?..

Тут я неловко признаюсь, что подрабатываю на больничной кухне.

Таскаешь два часа эту дурацкую каталку через всю больницу?..

На круглом лице у Жоры я читаю снисходительное недоумение.

И что ты с этого имеешь?..

Я не без бахвальства рассказываю о кормёжке.

Одна больничная котлета?!. говорит наш новый сожитель с такой миной, будто только что Аркадий Райкин показал ему свою новую миниатюру...

И даже не каждый день, говоришь? Если повезло, и какой-то старичок там дуба врезал, да?..

Жора выпучивает глаза от неодобрительного удивления и разводит руками, густо поросшими волосьяным подлеском.

Через пару дней новенький как бы вскользь сообщает, что устроился. Ночным сторожем на склад, в гастрономе у площади Льва Толстого.

Там от одного запаха жратвы сытый ходить можешь!.. говорит Жора, выпучивая радостно глаза.

Несколько дней он осваивается на новой работе. Потом рассказывает, что яйца в магазин завозят в огромных фанерных ящиках. Они там лежат, почти несчитанные, в древесной стружке – чтоб не бились.

Ты клещи взял!.. Два гвоздя выдернул... Фанеры угол приподнял... просунул руку...

Азербайджанец объясняет своё открытие, загибая палец за пальцем, в соответствии с каждым этапом.

На следующий день я вытаскиваю из кладовки во дворе общаги мой любимый велик-«турист», подарок от отца, незадолго до его смерти. Слегка подкачиваю шины, подслутые от долгого неиспользования.

Ночью я еду мимо спящего института, мимо дрыхнувшей больницы Эрисмана, мимо кинотеатра «Арс» на площадь Льва Толстого.

Два часа... На улицах ни души. Ни даже бродячей собаки. И ни мильтона...

Из подворотни, озираясь по сторонам, выходит Жора с бидончиком в руке. Увидев меня, подходит и молча вручает тяжёленький эмалированный бидончик. Я осторожно продеваю в левый рог руля его проволочную держалку и качу неспеша обратно в общагу.

Сегодня, как назло, на входе сидит Костыль. Зловредный одноногий старикан. Старый чекист. Мимо него и муха не пролетит без пропуска. Нечего и лезть.

Я с улицы негромко свищу. Из нашего окна сбрасывают верёвочку, и я привязываю к ней бидон. Он медленно, рывками, уплывает вверх.

Заперев в кладовке мой велик, я обхожу вдоль забора двор общаги и с беззаботным видом поднимаюсь по ступенькам к входной двери.

Костыль, не просыпаясь, поворачивает голову на звук и приоткрывает один глаз. Седой бобрин над длинным, как у лошади, лицом...

У старикана память – фотоаппарат, он помнит нас всех в лицо. А это чуть не тысяча народу. И где только таких находят? Не спит Первый Отдел⁴, не спит...

Гуляем?.. говорит сипло-недовольно Костыль и закрывает своё недрёманое око.

Назавтра, после занятий, когда вся комната в сборе, Жора с бидоном и одной из своих кастрюль идёт на кухню.

Мы сидим и предвкушаем.

Вскоре Жора возвращается с яичницей. Она в пол-кастрюли глубиной – хоть замеряй шестом.

Мы обжираемся этим королевским яством, заедая столовые ложки яичницы ломтями хлеба, реквизированного из буфета.

Я никогда в жизни ещё не видел омлета толщиной в полное собрание речей Н. С.Хрущёва на пленумах ЦК КПСС.

Вот так мы, наверное, будем жить при коммунизме?

⁴ В каждом институте, на любом заводе и в учреждении имелся такой филиал КГБ, с отставными полковниками и майорами.

Картофельная оттепель

Мы мирные люди, но наш бронепоезд

Стоял, стоит и будет стоять...

Мы вам покажем Кузькину мать!..

(Выступление тов. Н. С. Хрущёва на Генассамблее ООН, под стук снятым с ноги туфлем по трибуне.)

Спорить не буду – речь дорогого Никиты Сергеича в том приснопамятном собрании была, понятное дело, длиннее, чем тут у меня записано по памяти, но за передачу смысла в точности ручаюсь. Даже помню, как переводчик, слегка обалдев, нашёл всё же выход из положения.

We'll show you... **мэ-э... mother of Kuz'ma!..**

Чем и заставил разноцветных, разнополых и разно-одетых представителей остальных пяти шестых суши Земного шара тяжело и опасно призадуматься о том, кто ж такая эта загадочная Кузьма, почему её маму обещают им всем показать, и чего вообще демонстрацией чьей-то мамы рассчитывает добиться барабанящий по трибуне туфлем этот тучный и лысый жлоб в дорогом, отвратительно сшитом костюме?

Для меня лично эта самая мать Кузьмы оборачивалась у нас в институте военно-морской кафедрой, на которой уходящий вот-вот в отставку по возрасту капитан первого ранга, с лицом перманентно голодающего ребёнка, изборождённым морщинами и тупым, читал нам лекции на тему «Построение полка в ситуации атомной обороны», или «Почему наш советский флот лучше ихнего американского».

С атомной обороной всё было понятно и без лекций. Армянское Радио давно уже объяснило, что в такой ситуации следует делать: завернуться в белую простыню и медленно ползти в сторону кладбища.

По лицу каперанга, однако, было сходу понятно, что Армянское Радио, и вообще всякое радио, кроме чёрной тарелки Совинформбюро, или как оно там сегодня у нас именуется, он не слушает. И читает только уставы: строевой, гальюнной и камбузной службы.

То ли дело наш общий любимец, декан нашего курса Иван Степаныч!

Орёл!..

Или этот, как его... альбатрос!

Загорелый, моложавый, подтянутый, в своём чёрном морском мундире с золотыми нашивками и погонами капитана второго ранга, Степаныч нам почти как отец. Все девки влюблены в его усики и карие, строго-добрые глаза...

Сегодня, однако, со входа на военно-морскую кафедру содрана вывеска. Остался светлый четырёхугольник на грязновато-жёлтой стене.

Чудно!..

На аллее перед входом в ректорат я на бегу чуть не сбиваю с ног какого-то странного типа в куцем пальтеце на пяток номеров меньше, чем надо по размеру, и в мятой засаленной шляпе. Тип застенчиво улыбается, берёт машинально под козырёк заученным чётким движением – и тут же гадливо отбрасывает ладонь от своей штатской шляпы.

Я пробегаю мимо и остолбеневаю.

Да это ж Иван Степаныч!..

Валька Дугин выныривает из дверей ректората

Видал, Алька, что сегодня творится?..

Маленькие серые глазки горят кошачьим огнём из-под волокнистого облака шевелюры.

Неужто у нас закрывают военку?.. говорю в полном недоумении я... Нихрена себе оттепель!.. Половодье какое-то...

Ага!.. Жди!.. отвечает сердито Валька и для убедительности подносит мне к самому носу сложенный в кукиш кулак.

Американская делегация приехала с дружеским визитом, теперь понял?..

И сбавив до полу-шёпота голос, Валька вытаскивает из кукиша указательный палец и тычет себе в висок.

Степаныча видел в этом сраном лапсердаке?.. говорит он мне чуть не в ухо... Интересно, с кого он его содрал, вместе со шляпой? Им же всем генерал велел сегодня, чтоб ни одной кокарды нигде не блеснуло! А сам заперся в кабинете, чтоб никто его без лампасов не увидел. И вывеску содрали с военки – вдруг там кто из америкашек по-русски читать умеет...

Понятно... говорю разочарованно я... Значит, завтра опять всё как было...

Валька долго смотрит своими глубоко сидящими глазками мне в лицо.

Ты что, вообще дурак?.. говорит, наконец, разочарованно он... Совсем не соображаешь, где живёшь?..

В газетах, всех сразу растолстевших с обычных четырёх до целых двенадцати страниц, очередная речуга нашего дорогого Никитки на очередном заседалище.

Не понимаю.

То-есть, ясно, что написать это собрание сочинений – дело несложное. У них там в Москве, на Старой площади, писарей больше, чем на картине у Репина. Той, где казаки пишут турецкую грамоту султану, прямо в гарем.

Но какое же надо иметь железное большевицкое здоровье, чтобы суметь эту всю дрисню прочитать, от и до, с трибуны на пленуме?!

С ума сойти.

А чтобы всё это выслушать с умным видом и не уснуть? Там же вот: речь тов. Н. С.Хрущёва неоднократно прерывалась аплодисментами. Значит, и тут Армянское Радио право. Враг не дремлет!..

Интересно!

Но что-то не видно, чтобы стенды этих «Правд», «Известий», «Трудов» и прочих печатных шавок помельче осаждали заинтригованные толпы трудящихся.

Партия торжественно обещает – ещё нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И точная дата. Всего через двадцать лет.

А чего?.. думаю я злорадно. Вон Ходжа Насреддин торжественно гарантировал хану, что через десять лет его любимый осёл сможет читать газеты. Или что там у них в Бухаре полагалось читать?

А тут целых двадцать. Это ж какую память надо иметь, чтобы потом когда-нибудь вспомнить...

Одно, правда, местечко в этой речуге случайно попало мне на глаза и запомнилось. О том, что больше студентов и прочих тунеядцев-интеллигентов не будут гонять на уборку и переборку картошки. И не через двадцать лет, а отныне.

Так и написано: от-ны-не.

Через неделю у деканата вывесили филькину грамоту. В субботу всем неувечным и нехворым прибыть куда-то в Сосновку на склады. На переборку картофеля. Кто промотает без уважительной причины – на расстрел в деканат...

В пятницу вечером, слолав полбутылки ацидофилина с ломтем чёрного хлеба из буфета, я валюсь спать. Завтра в восемь утра на картошку. Дерьмовое дело, весь день очищать эти клубни, похожие на булыжники, от налипшей тяжёлой вязкой глины.

Но городу Ленина хочется жрать. А до обещанного партией коммунизма ещё двадцать лет без одной недели!..

В пять утра я просыпаюсь от жуткой рези в желудке и тошноты. В глазах темно...

Пытаюсь подняться и как-то добраться до уборной. Но колени мои как желе...

Кое-как доползаю до окна, успеваю открыть его и навалиться всем телом на широкий старинный подоконник. Меня выворачивает наизнанку.

Глухие утробные звуки блёва будят ребят. Меня кое-как одевают и тащат втроём в нашу больницу Эрисмана, в приёмный покой. Никому даже в голову не приходит вызывать скорую помощь – на всю общагу один телефон, запёртый до утра в кабинете директорши. Да и поди вызови... может, послезавтра приедут...

В приёмном покое я попадаю в умелые руки.

Меня заставляют, несмотря на жуткую тошноту, проглотить с десятков таблеток древесного угля. Потом мне впихивают в глотку резиновый шланг толщиной с анаконду и заливают в него литров пять омерзительно тёплой воды.

Меня раздувает как пивную бочку. Звероподобный мужичина-медбрат одним рывком выдирает из меня весь метровый шланг.

Остальное происходит само собой, без чьего-либо участия. Я превращаюсь в фонтан. Во льва, которому раздирает пасть невидимка-Самсон.

Заглушая мои утробные вопли, из меня извергается всё, что я съел за последние месяцы.

После этого я валяюсь, измождённый и обессиленный, на обитой рваным дерматином лежанке.

Ребят нигде не видно... я туманно припоминаю, что сегодня нас всех гонят на переборку картошки... вот они и убежали, чтоб успеть...

Время – часов одиннадцать, наверное. Не знаю. Мои старенькие часы «Победа», подарок отца к шестнадцатилетию, остались в общаге.

Ко мне подходит дежурный врач, сам чуть старше меня, лобастый, в железных очках.

Ну что, оклемался?..

Он заботливо смотрит мне в глаза, берёт в тёплые пальцы моё запястье и щупает пульс.

Хорошо, тебя во-время притащили... говорит врач, с удовлетворением отпуская мою руку... И что там за дрянь ты съел?..

Он выслушивает терпеливо мои объяснения. И велит отвезти меня в общагу на неотложке.

Полежишь сегодня и завтра... ешь только лёгкое что-то... А в понедельник будешь как новенький, как раз к твоим лекциям...

Всем, кто не поехал на картошку, велено поутру явиться в деканат. Я захожу последним. За длинным столом, ножка от буквы Т, сидят провинившиеся. Нас человек десять.

Во главе стола, за перекладиной от этой же буквы, сидит хмуроватый Иван Степаныч, уже в своём обычном морском сюртуке с погонами и нашивками тусклого золота ближе к концам рукавов. Смотрит декан на прогульщиков и филонов с неодобрением. Но не то чтобы зло, а с готовностью понять и простить. За что мы его и любим, нашего декана – добрый и судит по совести.

Ну-с?.. говорит Степаныч и обводит глазами провинившихся.

Я вижу в их числе и Вальку Дугина. Примятая непонятно какими ухищрениями шевелюра сидит у него сегодня, как затасканный берет из каракуля. Глаза у Вальки заплыли. Пил, наверное, со своими обычными корешами в кочегарке, в подвале общаги, да и проспал в теплыни у топки. Опоздал на картофельные автобусы.

Приболел я, Иван Степаныч... сипло говорит Валька, когда всепонимающий взгляд декана утыкается в его каракулевую шевелюру... Простыл там, в кочегарке. Кашляю вот... и потею...

Иван Степаныч пожимает плечами. Бывает, мол, все мы смертны. И переводит свои карие глаза на меня.

А я вот... откашлявшись, начинаю я свободно и с чистой совестью – уж мне-то оправдываться никакой нет нужды. Проблевал до утра в институтском приёмном покое. Всё записано, и печать стоит. И свидетелей полная комната, если надо.

Но вдруг у меня холодеют от ужаса яйца, и я слышу, как язык мой (проклятый мой язык!.. как у того мальчика в сказке, что заорал на всю улицу: люди добрые, а король-то голенький!..) вдруг начинает без спросу нести какую-то ахиною, от которой у меня перехватывает голосовые связки.

А с какой это стати нас опять посылают на картошку?.. говорю неожиданно я непослушными, тяжёлыми от страха губами... Вот в докладе товарища Хрущёва на пленуме было... что не будут слать больше... что уже без студентов можно обойтись...

Я вижу краем глаза, как по обе стороны от меня сидящие рядом пытаются отодвинуться подальше и даже как бы спрятаться под столом. Остальные растерянно переглядываются.

Иван Степаныч морщится, будто у него засвербило в носу, и прячет своё доброе лицо в обширный носовой платок. При этом декан смущённо и скучно смотрит в окно...

Больной он был, Иван Степаныч!.. слышу я чей-то жалобный выкрик.

Это Валька Дугин.

Он смотрит на меня дикими глазами и отчаянно тычет пальцем себе в висок

Иван Степаныч, не слушайте, чего он там мелет!.. Он той ночью отравленный был, всю комнату заблевал!.. Его на руках в приёмный покой тащили!.. Вы проверьте, у них же записано в книге приёма!.. До сих пор не соображает!.. мелет туфту какую-то. У него же температура!.. тридцать девять!..

Я молча стою, забыв закрыть рот.

Добрейший Иван Степаныч светлеет в лице и сочувственно смотрит куда-то в мою сторону, но старательно избегая моих глаз.

Да что ж проверять, и так вижу... говорит, наконец, с сожалением декан и что-то записывает в свой блокнотик.

Ты бы, Альфред, лежал себе в общежитии, раз больной... говорит Степаныч сочувственно... Вон Валя мог же просто сообщить нам... Но, конечно, похвально, что ты чувствовал, так сказать, ответственность... что не мог выполнить это самое... призыв нашей партии поработать для блага, так сказать...

Как считаете, товарищи студенты?..

Степаныч обводит настойчивым, пытливым взглядом присутствующих. Все неловко молчат, опустив головы.

Дугин!.. говорит приказным голосом декан... Больного Альфреда поручаю доставить в общежитие. Проследить, чтоб выздоравливал!.. Выполняйте!..

Есть, Иван Степаныч!.. с радостной готовностью отзывается Валька и хватает плотно и цепко меня под руку.

Пошли!.. говорит он мне сурово и мрачно.

Ладно, все свободны... негромко бурчит Степаныч, утирая платком усы... В другой раз кто прохилияет, сниму со стипендии. Учтите...

Валька Дугин выводит меня из кабинета в коридор.

Ты что, совсем охуел?.. оглянувшись, шипит он мне в ухо... Придурок!.. Скажи спасибо, что Степаныч у нас золотой мужик. У другого ты бы из института уже вылетел вверх тормашками. А может и загремел куда следует...

Я молча пожимаю плечами.

Валька всматривается мне в лицо маленькими, ещё глубже сидящими, заплывшими после пьянки глазами.

Может, у тебя и правда тридцать девять?.. и делириум?..

Сорок!.. говорю я, поёживаясь... Нехер читать газеты... Так двадцатку отсидишь и выйдешь – а вокруг уже полный коммунизм...

И бесплатный трамвай... подхватывает Валька Дугин мечтательно... А-ху-еть!..

И смачно сплёвывает на серый асфальт тротуара.

Чувачок Арканя

*Гага северная птица,
Гага ветра не боится.
Целый день сидит в гнезде,
Ковыряется в... пуху-уу!..
(Любимая частичка Аркани, мурманский фольклор)*

Он появился у нас в комнате чуть не на ночь глядя – гладколицый, темно-серые волосы ёжиком, тонкие усики над пухловатыми губами. Невысокий, плотный, с покатыми плечами – левое заметно выше правого.

Чувачки, у вас тут вроде койка не занятая?..

Осмотрелся внимательно пустоватыми и чуть мутными голубыми глазами. Пощупал ладонью полосатый матрас, потрамбовал его хозяйским движением.

И перебрался в нашу комнату, притащив откуда-то чёрный футляр с трубой, увесистую сумку с халатом и учебниками, да заграничный ладный чемоданишко с цветными наклейками на неизвестном языке.

Так Арканя-чувачок стал моим ближайшим соседом – кровати наши стояли под углом в девяносто градусов, и граница владений проходила по тумбочке, что торчала между изголовьями.

В тот же вечер, едва разложив свои вещички, новичок споро переоделся в чёрный костюм с атласными лацканами и, подхватив футляр с трубой, исчез за дверью.

Лабáем в Мухинке!.. только и успел кинуть, в ответ на мой вопрошающий взгляд.

Вернулся он в совсем непонятное время – то ли ещё поздно, а то ли уже рано. От шороха снимаемых одежд я проснулся и открыл ещё склеенные сном глаза.

Арканя спокойно и неспешно раздевался, стоя почти надо мной. Пиджак с атласными, жирно отсвечивающими лацканами аккуратно висел на спинке стула. Сверху на него легли чёрные брюки. Потом заграничная рубашка, белая в тонкую красную полоску.

Потом так же свободно и незастенчиво сосед стянул свои плавки, оставшись в одной майке.

И почти надо мной повисло НЕЧТО, размером с полтора кило варёной докторской колбасы.

От неожиданности у меня, как видно, вытаращились глаза и Арканя, поймав этот мой взгляд, усмехнулся самодовольно и даже с оттенком гордости.

Ты слышь, чувачок... с каким-то интимным оттенком в голосе сказал он, чуть шепелявя... От пениса этого любая баруха потом неделю ходит враскоряку!..

Он любовно погладил свой орган, будто пересаженный на Арканино небольшое, хоть и плотное тело от какого-то былинного чудища.

И занырнул одним ловким движением под своё серое одеяло. И почти сразу же захрапел...

Ты слышь, чувачок... говорит как-то мне Арканя под вечер. За неделю, что прошла с его поселения в нашей комнате, он вполне освоился тут, да и нам этот чёрный футляр с его трубой уже перестал казаться чем-то странным.

Слышь, чувачок... говорит он, глядя вроде как мне прямо в глаза, а вроде почему-то мимо... Не хошь со мной в Промку прохилаться? Там сегодня лабают классные дуды! Давай, бирлянём нараз, и похиляли!..

А что тебя вчера не видать было весь день?.. спрашиваю я, морща лоб в попытке понять, что эта вся тарабарщина означает в переводе на русский.

Да мы жмурá тащили... отвечает, небрежно так, будто о чём-то повседневном, Арканя... Ну так чего, похилили, а?..

Я молча пожимаю плечами.

Арканя замечает это моё некоторое замешательство. И в мутноватых его глазах я вижу снисходительную усмешку.

Ну на этих играли... на похоронах...

Он споро переодевается в потёртую заграничную куртку оранжево-синей расцветки. У Аркани вообще все вещи, разве что кроме белого медицинского халата, сплошь иностранные, с ярлыками на разных языках. И все подержанные, сплошь фарца. Даже демисезонные туфли на несусветно-толстом каучуке.

Вот сейчас Арканя как раз их и натягивает на ноги.

Штатские!.. многозначительно говорит новый сосед, перехватив мой взгляд.

Будто я сам не вижу, что не военные. Военные я хорошо знаю – сам носил, одалживая у отца. И хромовые сапоги, и ботинки со шнурками, и уже, в последние годы, закрытые «старпёрки» с резиновыми вставками по бокам, для старшего офицерского состава.

Мы выходим из общаги к травяной остановке.

Я с трудом удерживаюсь от смеха, глядя, как чапает Арканя в коротких, дудочками, заграничных штанах и нелепых в своей массивности «штатских» туфлях на резиновом ходу.

Стиляга!

С воем притормаживая, подходит трамвай. Мы взлезаем на площадку. Там новшество: в самом центре площадки установлен некий постамент, а на нём какая-то хрень из прозрачного плексигласа с покатыми стенками и прорезью наверху. А сбоку – рулон трамвайных билетов.

Самообслуживание. Вбрось три копейки и оторви себе билет.

Вишь, чувачок!.. говорит Арканя, улыбаясь слегка – отчего тонкие его усики растягиваются, как меха у гармошки... Сознательность у граждан!.. достигла апогея!.. Нам уже доверяют на целых три копейки!..

Он вытаскивает из кармана монету, звучно стучает её ребром по копилке из плексигласа рядом с прорезью. Вытягивает из рулона с полметра билетов. И преспокойно кладёт монету, вместе с билетной лентой, в карман своей сине-оранжевой куртки.

Я пугливо озираюсь – не увидел ли кто. Ещё прихватят за мелкое хулиганство...

Чувачок... говорит с усмешкой Арканя... Не хэзай. Я вон специально ноготь отращиваю, чтоб им стукать, вообще вместо монеты...

Он показывает мне, подёргивая снизу вверх, указательный палец, с уже довольно длинным и не очень чистым ногтем.

А билетики будем через локоть мотать!.. добавляет Арканя и облизывается, как майский кот.

На повороте в сторону Карповки мы спрыгиваем с трамвая и споро движемся к площади Льва Толстого. Там чуть направо по Кировскому, и вот уже серое мрачное здание Промки смотрит на нас негостеприимно через дорогу.

У входа я вижу афишу. Сегодня у нас во Дворце культуры и отдыха Промкооперации танцы! Играет эстрадный оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна.

Суки!.. говорит с весёлым возбуждением Арканя, тыча пальцем в афишу... Связать бы их всех хуями, и в Неву!.. Эе-страд-ны-ий оркестр!.. А по-честному «джаз» написать – слабó!..

Мы входим в зал. На паркете близ сцены кучкуется негустая толпа. Много стилияг, одетых вроде Аркани, в коротенькие дудочками штаны... с бриолиновыми коками над зеленоватыми лбами. Какие-то странные бородачи с подозрительно еврейскими носами... Девицы, обвеша-

ные сиськами и задами, в заграничных капронах без швов под юбчонками типа «условный противник».

На сцене сидят оркестранты, придерживая сияющие золотом трубы. Я вижу гнутые, как английская буква «S» саксофоны разных размеров. Корнеты. Тромбоны. На самом видном месте сидит какой-то взъерошенный парень за грудой барабанов и медных тарелок. А справа в глубине сцены скромно придерживает огромный контрабас совсем ещё мальчик с непомерных размеров кистями, будто пересаженными от какой-нибудь гориллы.

Народ в зале одобрительно зашумел и нестройно захлопал. На сцену перед оркестром вышел плотно сложенный, нестарый ещё человек с курчавой шатеновой шевелюрой над чуть пухлым округлым лицом.

Вайнштейн!.. с восторженным уважением выкрикивает негромко мне в ухо Арканя... Чувак!.. железный лабух!.. Он бы в Штатах вошёл в десятку, как Бени Гудман! Или Дюк Эллингтон!..

Имена эти не говорят мне ровно ничего. Впрочем, о Дюке Эллингтоне я вроде бы слышал: «Караван»?..

Караван!.. сказал флегматично Вайнштейн и повернулся к залу спиной.

Толпа нестройно захлопала. И со всех сторон я услышал радостный ропот и свист.

Чего свистят?.. недоумённо спрашиваю я Арканю. Сейчас начнут ещё орать «дирижёра на мыло»?..

И в голове у меня уже начинает слегка стучаться опасение, что может дирижёра они освистывают за такую откровенно нерусскую фамилию?

Да это так в Штатах, у них там!.. успокаивает меня, сам того не соображая, Арканя... На концертах и джим-сешшенах, ты понял?..

И для убедительности суёт два пальца себе в рот и оглушительно свистит, перекрывая оживлённый рокот зала.

Ййй-еэсс!!!

Народ пугливо оглядывается на этот восторженный вопль Аркани. И вокруг нас образуется небольшая зона пустого пространства.

Неловко даже как-то...

Первые ноты оркестра доносятся еле слышно, как бы издали... Зал затихает... Протяжно плывут над головами толпы звуки труб. Лопочут что-то неразборчиво саксофоны. Вздыхают дальней медью тромбоны. Шуршит что-то сухое из барабана. Глухо-утробно постанывают струны баса...

И встаёт у меня перед глазами миражное, струйное видение жарких барханных волн... скользят медленно и размеренно между ними верблюжьи горбы...

Музыка нарастает, будто нахватавшаяся из воздуха скрюченными пальцами дирижёра.

Вот встаёт в первом ряду оркестра высокий лобастый парень, высоко запрокинув трубу, будто собирается пить из неё, как из бутылки. И начинает торопливо и резко играть что-то неподдающееся описанию, выбрасывая в конце каждой фразы высокие чистые звуки, которые уносятся куда-то в потолок, и там то ли гаснут, а то ли просачиваются невидимыми волнами куда-то дальше, в серые питерские облака.

Костя Носов!.. восторженно крутит головой Арканя... Чува-ак! Это что-то! Это... цимус!..

Мне странно слышать из уст русака-мурманчанина это еврейское местечковое выражение, смысла которого он даже явно и не знает.

Но всё же как-то тепло и приятно...

Трубач, отыграв своё и закончив неопишимо высокой пронзительной нотой, садится на место под восторженные вопли, аплодисменты и свист.

На смену ему встаёт задумчивый, в бакенбардах и с усиками, молодой еврей с небольшим серебряным саксафоном. И с места в карьер начинает поливать зал ласковым дробным лопотанием звуков, то повышая тона до почти истерических, то опуская до грудных, тёплых как красное дерево, низких и доверительных нот.

А это Генка Гольдштейн!.. шепчет мне прямо в ухо Арканя, чтобы не осквернить своей речью этот волшебный каскад воркующих звуков... то гундосящих тёплым эбеном, то будто просвечивающих баритонным ворчанием меди...

Чува-ак!.. Какой импровезухен!.. восторженно лопочет мне в ухо Арканя... А?!.. Да он бы в Штатах мог с самим Чарли Паркером играть!..

Я понятия не имею, кто такой этот Чарли Паркер. Но согласно киваю головой. Меня действительно захватывает филигрань этой музыки, виртуозность летающих по клапанам пальцев, поразительная лёгкость и богатство фантазии. Я начинаю как-то нутром, без участия логики, воспринимать эту странную, будто не нотами писаную, а чистым вдохновением, музыку. Музыку, что не всунуть в заранее заготовленные, сто раз проверенные Главлитом... или у них там Главмуз тоже есть?.. рамки.

Да!.. опасная это штука – джаз. Ох, опасная...

Ты вот чего, чувачок... говорит мне Арканя как-то через неделю... Ты это... на басу не лабашь?..

Каком ещё басу?.. говорю я в некотором удивлении.

Ну – на этом, как их тут зовут?.. на контра-ба-асе?..

Арканя выговаривает это длинное слово с нешуточным омерзением.

Это такая дурында, вроде скрипки для великана?.. осеняет меня, наконец.

Во!.. радостно кивает Арканя... Точно!.. Нам, слышь, лабать сёдня в Мухинке, а Витька палец порезал. Ты б его заменил, а?..

Смеётся он, что ли?

Я в жизни не то что играть, а рядом с этой бандурой не стоял. И вообще, могу протрын-деть пару песен на мандолине, и ещё в три аккорда вдуть аккомпанемент на семиструнке. На гитаре... Вот и весь хуй до копейки – как мой друг Толик с Чайковской выражается в таких откровенных случаях. А уж кому, как не ему, в этом деле лучше разбираться. Я имею в виду не музыкальные инструменты, а ту самую штуку, которой ему природой отмерено в полтора раза больше чем нам, простым смертным.

Арканя видит моё остолбенение и улыбается своей сладенькой, саркастичной улыбкой сквозь хулиганские редкие усики.

Чува-ак!.. говорит он успокоительно... Ты не бзди... Будешь стоять себе мебелью сзади, вроде шкафа. И левой рукой водить по грифу. А правой делай вид, что пощипываешь. Хули там?.. ты вообще струны эти и не трогай, мы без тебя управимся. Понял?..

Я нерешительно пожимаю плечами. Как-то неловко всё это, чистая авантюра. Кукольный театр...

Да зачем я вам нужен там, для мебели?.. говорю я в мучительной неловкости. Вот всегда у меня так – не умею отказывать людям. Даже когда ясно вижу, что хотят меня «взять на понял», как говаривал другой мой дружок, Юра Кикинзон. У которого спереди, в отличие от Толика с Чайковской, ничего примечательного вроде бы не водилось. Зато сзади было столько!.. любой бабе на зависть...

Арканя видит эти мои мучения, и успокоительно лыбится ещё шире. Наклоняется доверительно ко мне.

Да вишь, чувачок... Нам там башли на четверых выписали, соображаешь? Если трое придём – начнут яйца морочить: чего, мол, да как... А так все четверо музыкантов налицо. Гоните, как обещано. Понял?..

Он ещё ближе наклоняет лицо ко мне, и я ощущаю какой-то странный, мясной какой-то, запах его дыхания.

Мы тебе пятёрку отвалим... увещевает меня Арканя... Чтоб не зря хоть вечер отстоял... И потом, в зале там, в Мухинке, барух толпа вокруг нас будет, любую на выбор. Они на джазменов как мухи на говно лезут. Бери любую!.. Поехали с нами, а?..

Уговорил!..

Арканя видит по моему лицу, что я сдался. И поощрительно хлопает меня по плечу...

Внизу, на бульжнике у общаги, уже стоит такси. «Волга» с зелёным глазком. Арканя, в своём костюмчике с атласными лацканами, кладёт на заднее сиденье футляр с трубой и садится по-хозяйски рядом с водителем. Я, в темносинем пиджачке и чёрных брюках, присаживаюсь на край сиденья сзади, рядом с его трубой. Чувствую я себя неловко. Пиджак тесноват, я его ни разу не надевал после выпускного вечера в школе – а это уже с четыре года. И на такси я, считай, тут ни разу не ездил, в Ленинграде – и случая не было, вроде бы, а уж денег-то и говорить нечего...

А контра... то-есть, бас где?.. спрашиваю я слегка встревоженно у Аркани. Хотя и коню понятно, что бандура таких размеров в такси влезть никак не могла бы.

Он улыбается в пол-лица, обращённых ко мне, своей кошачьей вкрадчивой улыбкой, растягивая губы под хулиганскими жиденькими усами.

Да у них там свой есть... говорит, наконец, Арканя... А нам и лучше. С фабрики «Красная балалайка», наверное... дрова. Но такому исполнителю, как сегодня, страдивари вроде и никчему...

Он хихикает коротко и умолкает.

В большом зале паркетные полы. Могучие люстры свисают с потолка, будто хрустальные ёлки. Явно старинной работы, теперь таких и не делают. В стене, обращённой к улице, прорезаны огромные, почти от самого пола, арочные окна.

Мы деловито, малозаметно проходим сбоку к сцене.

Народу в зале уже полно. Никто на нас не обращает внимания. На сцене, за плотным занавесом, намного тише. Оживлённое жужжание сотен голосов доносится сюда приглушённо. Пахнет пылью.

Сцена маленькая и невысокая. Я вижу у задней кулисы старый большой рояль, массивный и тускло отливающий чёрным глубоким цветом.

В углу громоздится на подставке пузатый желтовато-коричневый контрабас. Я с опаской подхожу к нему, поглаживаю выпуклую мощную деку, трогаю пальцами толстые, туго натянутые струны, берусь рукой за чёрный, шелковистый на ощупь гриф.

И впервые в жизни ощущаю досаду, что вот не сумели папа с мамой в детстве усадить меня за наше старенькое пианино, а сам я ленился, не хотел. Делал луки и стрелы, бегал на секцию фехтования в Дом офицеров, придурок... д'Артаньян недоделанный...

На сцену поднимаются два незнакомых мне парня. С недоумением смотрят на меня.

Да Витька руку порезал, чуваки... объясняет слегка виновато Арканя... А это сосед мой по комнате, свой чувачок, хотя и не лабух. Ну, постоит нам для мебели, за пятёрку...

Парни заметно расслабляются.

Пожимают плечами.

Потом пожимают мне руку и улыбаются чуть насмешливо. Или мне померещилось?..

Да я покажу ему, как держаться за бас!.. успокаивает их Арканя... И чтоб струны так только трогал, для блезиру...

Пришедшие быстро, сноровисто втаскивают на сцену большой барабан с ещё двумя барабанами поменьше, и сбоку со штырём, на котором медные тарелки.

Арканя подтаскивает контрабас поближе к ударной установке и наскоро объясняет мне, как держаться левой рукой за гриф и ездить по нему в обхват вверх и вниз.

Ну вроде как дрочишь его, понял?.. говорит Арканя весело, и облизывает верхнюю губу под усиками.

И тут же объясняет, как пальцами правой слегка прикасаться к струнам, но так, чтобы не извлекать из них звуков.

Так! Встали, чуваки!.. говорит Арканя сосредоточенно и поднимает к губам свою серебряную трубу.

Мы замираем. Саксафонист с маленьким альтом. Ударник с поднятыми почти над головой палочками. И я, судорожно ухватившись за гриф огромного баса, за который мне сейчас хочется спрятаться так, чтоб меня вообще не было видно.

Дальнейшее сливается у меня в памяти в какой-то полутёмный провал. Вот разъезжается медленными рывками в стороны занавес, открывая нас, освещённых безжалостно-ярким светом юпитеров, забитому до отказа студентами залу. Зал я не вижу, просто какая-то чернота за прожекторами, гудящая сотнями голосов, населённая сотнями глаз, и все они смотрят пристально на меня.

Взопрев от жуткой неловкости, я старательно изображаю аккомпанемент. Вожу пальцами левой руки по грифу, отчего огромное тело баса чутко отзывается еле слышным ворчанием, а сами струны повизгивают обмотками из тоненькой проволоки. Пальцами правой я чуть прикасаюсь к струнам в центре выпуклой деки, и струны ощутимо вибрируют, им будто не терпится зазвучать.

Иногда Арканя быстренько оглядывается на меня и ободряюще подмигивает. Но мне почти не становится легче. Мне стыдно. Мне кажется, что весь зал упёрся взглядами в меня, и все видят что я обманщик и самозванец...

Наконец, под одобрительные аплодисменты и смех из почти невидимого зала Арканя объявляет перерыв. Гаснут юпитеры.

Пошли, чувачок!.. говорит мне Арканя успокаивающе... Тут у сцены все барухи собрались в кучу, бери навыбор. Да поставь ты басá туда в угол, на подставку. Пошли!..

Он тянет меня за рукав. Я неловко иду за ним в зал.

Народу здесь столько – яблоку негде упасть. Девчонки в юбках в обтяжку, до половины ляжек длиной. А то и короче. В фигурных капронах. Ресницы густые и чёрные от туши – каждый глаз будто сороконожка. Под глазами синие тени. Волосы взбитые зачёсаны у многих по шаблону «Я у мамы дурочка».

Правда, не у всех.

Парни тоже стилижные. С зачёсами. Брюки в дудку. Туфли на каучуке. Короткие, куцые пиджачки. У многих и галстуки повязаны, как у Аркани – каким-то необычным косым «американским» узлом...

Во, гляди!.. шепчет мне слегка возбуждённо Арканя... Видишь вон там две чувихи стоят?.. Ну вон те, в сторонке... одна черноволосая такая, и с ней подружка белобрысая?.. видишь?..

Вижу... говорю я неловко... А что?..

Пошли к ним, потом расскажу...

Арканя сладко облизывает губы и рассекает толпу, которая уважительно расступается перед нами, музыкантами.

Привет, чувихи!.. говорит Арканя девушкам.

Я вижу, как черноволосая, по лицу явно еврейка, густо краснеет и закусывает досадливо губу.

Её подружка – полноватая, небольшого росточка блондинка, с широким русским лицом и гладко зачёсанными назад волосами – оживлённо улыбается и явно польщена вниманием со стороны джазмена.

Черноволосая внимательно смотрит на меня и я вижу в глазах у неё некоторое недоумение.

А вы что, тоже музыкант?..

Голос у неё глуховатый, грудной. Контральто...

Да так... немножко... говорю я скромно и заливаюсь краской от стыда.

Неужели сообразила и теперь насмехается?

Но девушка дружелюбно протягивает мне узкую, с длинными пальцами руку.

Я Софа. А как вас зовут?..

Альфред... говорю я неловко... Такое вот оперное имечко папа с мамой мне придумали.

Ничего... говорит она с лёгкой иронией... Могли бы и Кимом назвать. Или Трактором...

Софа внимательно изучает моё лицо и вроде бы остаётся довольна результатом.

Экс нострис?.. говорит она мне негромко, почти в самое ухо... Наш человек в Гаване?..

И понимающе улыбается.

Образованная девушка... думаю я уважительно и киваю в знак согласия.

Арканя, я замечаю, напротив, ей будто бы неприятен. Вроде бы как смущает.

Какая между ними кошка пробежала?.. думаю я не без интереса. Хотя что мне за дело?

Мой сожитель по комнате весь поглощён беседой с этой пухлой блондинкой. Которая мне никаким боком не интересна.

А вот Софа эта – штучка непростая, сразу видно. И привлекательная...

Второе отделение нашего танцевального концерта проходит для меня легче. Мне уже ясно, что им всем в зале, за рампой и юпитерами, нет никакого дела до меня и моего музыкального миманса. Там внизу, на паркете, под замечательными старинными люстрами, парни водят девушек в танце... облапив растопыренной рукой упругую задницу в туго обтянутой юбочке, ощущая рёбрами густо налитые нежные груди... Девчонка прижимается к сильному телу партнёра, и ведётся в эротическом тумане, лёжа мечтательно щекой у него на плече... утыкаясь на каждом шагу ляжкой в твердоту у него в штанах и истекая влагой желания...

А тут я со своим контрабасом, где-то там, в глубине сцены. Главный персонаж, среди этого праздника жизни!..

Не смешно ли?..

Всё, всё, чуваки!.. говорит Арканя слегка возбуждённо... Отлабали!.. Будя... За такие бабки нехер выкладываться...

За уже сдвинутым занавесом он раздаёт по красной десятке тем двум, что приехали отдельно от нас. Они кладут привычно, слегка пренебрежительным жестом, деньги в карманы и, подхватив ударную установку, тащат её молча к выходу.

Пошли... говорит мне Арканя... Пятак твой потом отдам, а теперь наших барух подхватим и повалим к ним, на Декабристов. Не против?..

Я неопределённо пожимаю плечами. И когда ж он успел с ними договориться?..

Народ расходится. Людские струи становятся всё жиже...

Мы выходим на Моховую. И я вижу Софу с той белобрысой... стоят чуть в стороне, ожидают.

Девочки, пошли на Литейный!.. говорит Арканя по-хозяйски... Поймаем такси, отвезём вас. А то на этом, на жлобском транспорте, час будем тащиться...

Они послушно идут вместе с нами по улице. Белобрысая протягивает мне широкую, не совсем по-женски жёсткую, кисть.

Оля... говорит она коротко.

Я называю себя.

Девчонка энергично, крепко пожимает мою руку.

Сильная... уважительно думаю я... Может, такие вот Аркане и по вкусу, кто его знает?..

Такси гонит по набережной вдоль просторной Невы. Но мне не до вечерних пейзажей – я сижу посередине сзади, зажатый между двумя девчонками, с их тугими сиськами и объёмистыми ляжками, плотно сдавившими с обеих сторон мои тощие жилистые бёдра. Не совру, будто мне это неприятно – когда на крутом повороте я валюсь всем боком на одно из этих мягких объёмистых тел, а другое наваливается сверху мне на плечо.

Мой дружок промеж ног, давно уже ссохшийся на харчах институтской столовки, вдруг, встрепенувшись, алчно подымает свою налившуюся жаркой кровью голову и начинает рваться на волю.

Хорошо, что это незаметно в темноте...

Мы проезжаем Театральную площадь, уже опустевшую после разъезда из Кировского и из Филармонии. Слегка попрыгав шинами через трамвайные рельсы, «волга» гонит дальше, по Декабристов.

Здесь!.. говорит водителю Арканя.

Софа как-то нервно хмыкает.

Завидная память у вас, однако, Аркадий... говорит она тихо, с неодобрительным уважением.

А я приятное всегда помню!.. отвечает Арканя с коротким и, как мне кажется, победным смешком.

Ну это как кому... говорит Софа, коротко вобрав и выпустив воздух сквозь сжатые зубы.

Мы поднимаемся по едва освещённой лестнице, где густо пахнет кошачьим дерьмом. Высоченная дверь, обитая чёрным дермантином. С обеих сторон звонков, будто кнопок на гармошке.

Софа открывает.

Длинный извилистый коридор. Тишина. Откуда-то издалека, из-за одной из дверей, доносится приглушённо чей-то мощный храп...

Мы проходим на цыпочках в даль коридора. Дверь в самом конце. Софа долго выбирает из связки нужные ключи. Отпирает нижний замок. Потом верхний. Дверь с еле слышным скрипом отворяется, и мы заходим в темноту. Арканя, похоже, задевает что-то своим футляром с трубой. Чертыхается тихо сквозь зубы.

Впереди загорается вдруг большой неяркий торшер довольно антикварного вида. Оранжеватый свет озаряет просторную комнату загадочным и тревожным сиянием. Старинный, тяжёлый на вид комод... просторный диван из потрескавшейся от времени чёрной кожи... стол в углу... камин, и на полке над его чёрным зевом две вазы с цветами... по стенам небольшие строгие рамы, вроде бы с гравюрами, но свет слишком тусклый, чтобы их можно было рассмотреть... Дальние углы комнаты и вовсе тонут во мраке, только угадываются очертания кровати с никелированной спинкой, которая странно смотрится здесь – будто заброшенная машиной времени из наших шестидесятих годов куда-то в начало века.

Посредине комнаты я вижу старый обеденный стол на тяжёлых, чуть ли не от рояля, ногах. Вокруг шесть стульев с гнутыми вычурно спинками...

Арканя снимает в углу и вешает на стоящую там старинную круглую вешалку свою, бесцветно тёмную в этом тусклом освещении, куртку. Потом открывает чёрный футляр с трубой и выуживает оттуда необычного вида бутылку, с янтарного цвета жидкостью за стеклом. Подходит к столу... скромно и горделиво ставит большую, наверное на целый литр, бутылку на середину.

Побирлять там чего-то найдётся, девочки?.. говорит Арканя, чуть заметно усмехаясь под усиками... Ну там шпроты какие или колбаска?.. Лимон у меня к этому коньячку с собой...

Он шарит неторопливо по карманам своего пиджачка с атласными отворотами и вытаскивает лимон.

А вы, Аркадий, живёте всё лучше и лучше... с чуть уловимой насмешкой в голосе говорит тихо Софа, подавая ему блюдце и нож... Подумать только – «мартель»! В нашей-то скромной студенческой компании...

Девчонки уходят в уголок за ширму, где у них, как видно, что-то вроде кухни. Звякают там тарелками и рюмками. О чём-то шушукаются торопливо и энергично...

Арканя садится за стол к бутылки. Вытаскивает из кармана складной ножик. Срезает с горлышка верх закрывающей пробку фольги. С усилием вытаскивает пробку, отчего бутылка издаёт чуть слышный чмокающий звук.

Слышь, чувачок... говорит тихонько Арканя... Тебя эта Софка как, устраивает?.. Баруха в порядке, но у меня это, сам понимаешь, пройденный этап... Я вот Ольку хочу разложить, мне такие, с поросычыми толстыми ножками, оч-чень нравятся... Ты непротив такого расклада?..

Да мне в самый раз... шепчу я в ответ с чистосердечной убеждённостью... Олька девочка классная, но меня и Софка вполне... устроит...

Ну значит, поделили... подытоживает удовлетворённо Арканя наш мужской разговор.

Девчонки выходят из-за ширмы с подносами, на которых разложенные по тарелкам кружки колбасы, две плоские баночки шпрот, полбуханки хлеба, рюмки и вилки с ножами.

Во!.. во-о!.. радостно говорит Арканя, с явно фальшивым изумлением оглядывая эту скромную закуску.

Скажи, молодцы у нас девочки!.. А? Как считаешь, Фредди?..

Я отмечаю в уме это совсем иностранное имя, которым меня только что окрестил мой сосед. Но не один ли мне хрен? Хоть груздём назови... и так далее...

Арканя между тем встаёт и заботливо усаживает Олю рядом с собой. Я отмечаю, что она принимает это как должное... стало быть, девки нас тоже успели поделить.

В самый раз...

Софа сгружает с подноса тарелки, вилки с ножами и сама, не спрашивая, садится рядом со мной.

Ты непротив?.. читаю я немой вопрос в глубине её чёрных глаз. И довольно улыбаюсь в ответ...

Арканя встаёт и торжественно разливает по рюмкам желтоватый коньяк. Затем поднимает свою рюмку, держит её в ладонях, будто согревая. Потом подносит к носу и шумно втягивает аромат.

Софа переглядывается со мной и я вижу, что она едва удерживается от невесёлого, даже слегка презрительного смешка. Я предостерегающе подношу палец к губам и берусь за свою рюмку. Нюхаю... да, в самом деле классный аромат... тёплый, солнечный, вкусный... приятно представлять себе при этом пейзажи какого-нибудь там Марселя или может Бордо... уже не говоря о Париже...

Арканя скромно предлагает выпить за женский пол и за этот замечательный вечер, в который уже было и ещё предстоит столько приятного для души.

И тела... мысленно добавляю я и смотрю прямо Софе в её чёрные, бездонные и непроницаемые в этом оранжевом свете глаза. Она поднимает свою рюмку повыше и смотрит как бы мимо неё мне в лицо.

Мы чокаемся и пьём. Вкусное пойло утекает мне за грудину и там становится жарко и хорошо.

Арканя кладёт себе в губы ломтик лимона и сосёт его, зажмурив от удовольствия, как кот, глаза. Я пробую сделать так же, но кислые соки лимона только разжижают крепкий, густой и ароматный вкус коньяка. И какой дурак придумал, что надо вот так?.. Непременно зажёвывать эту чудесную влагу лимоном?..

Мы с аппетитом едим. Арканя что-то оживлённо и напористо рассказывает Оле, едва не касаясь губами её уха. Она с подчёркнутым интересом слушает, и вроде бы даже прижимает

ещё ближе это ухо к его редким хулиганистым усикам. Видать, у них, на той стороне стола, уже после первого тоста наладилось полное взаимопонимание.

Софа смотрит на это приятное зрелище почему-то тревожно и предостерегающе, но её сожительница не замечает этого взгляда подруги. Похоже, у неё с Арканей флирт уже приближается к апогею.

Пойдём, покурим?.. говорит мне Софа и встаёт. Я открываю рот, сказать, что не курю – но вдруг соображаю, что тут дело не в куреве.

Мы отходим подальше от стола, к широкому подоконнику. Садимся на него. Софа закуривает и придвигается плотно, всем телом, ко мне. Затягивается и медленно, с явным наслаждением выпускает дым из сложенных в плотное колечко губ. Губы её в тревожном свете стоящего совсем рядом торшера выглядят тёмными, и цветом почти бордовыми. Впрочем, ей это к лицу...

Слушай, ты давно знаешь этого Аркадия?.. говорит Софа еле слышно, мне в самое ухо.

Я пожимаю плечами...

Да как сказать?.. отвечаю я тоже шёпотом в подставленное ею округлое ушко, почти прикрытое чёрными прядями волос... Он у нас в комнате, в общаге, поселился с месяц назад. А что?..

Она молчит нерешительно. Потом снова затягивается сигаретой и как-то нервно выдыхает дым к потолку.

Мне очень неохота об этом... говорить... наконец, с трудом выдавливает сбивчиво она и я щекотно и возбуждающе ощущаю всем ухом её дыхание.

Понимаешь... с полгода назад я с ним познакомилась в Промке на танцах... ну, такой вроде обаятельный... сам музыкант... не прижимистый... забавный, с этим его жаргоном... ну и...

Софа... говорю я тихо-тихо ей на ухо, видя, как она мнётся и смущается... Мы с тобой одного племени, правильно?.. Ты и я?.. Мне ты можешь сказать всё, что хочешь... Всё строго между нами. Ладно?..

Я легонько целую её в висок, и ощущаю, как она прижимает голову к моим губам.

Да... чуть слышно выдыхает она... Только понимаешь... Но ты такой... сразу видно, что мягкий, добрый... Ты обещаешь, что не станешь на меня смотреть, как на... ну, понимаешь?..

Не стану!.. Ну чего ты?.. шепчу я в это светлое от оранжевого сияния торшера ушко, контрастом выделяющееся на фоне чёрных её волос. И снова целую в висок...

Он тогда меня в такси усадил и повёз сюда... По дороге что-то всё рассказывал, про джаз... про этого, как его, Чарли Паркера... Дюка Эллингтона... ещё там разных знаменитых... Про Америку и о том, как у нас тут всё зажимают и...

Она замолкает и снова затягивается сигаретой. Выпускает неспеша дым через ноздри.

Приехали сюда... Неловко было его отослать, ну и... поднялись ко мне сюда, в комнату... Он в этой трубе своей какую-то бутылку и в тот раз держал... Посидели, ну вот как сейчас, только вдвоём, Олька ещё у меня не жила тогда...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.